Я УНЕС РОССИЮ... Минувшее глазами эмигрантов

Мария фон Бок

Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Нет, наверное, в политической истории России начала XX в. более крупного государственного деятеля, чем Петр Аркадьевич Столыпин. Просвещенный бюрократ, не искавший карьерных перспектив, он оказывался на высоких постах вопреки своему желанию. Убежденный монархист и радикальный реформатор. Прогрессист и просветитель в глазах одних – и махровый реакционер для других. Государственник, всеми силами пытавшийся предотвратить «великие потрясения», но так и не сумевший этого сделать.

Вспоминая отца, старшая его дочь Мария фон Бок (1886–1985) перемежает лиричные семейные истории тревожными и горькими рассказами о судьбе страны, вступавшей в один из самых драматичных периодов своего бытия.

Книга также издавалась под названием «Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. 1884-1911».

- Мария фон Бок
  - ○
  - ○
  - ○ Часть первая
    - ■ Глава I
    - ■ Глава II
    - ■ Глава III
    - ■ Глава IV
    - ■ Глава V
    - ■ Глава VI
    - ■ Глава VII
    - ■ Глава VIII
    - ■ Глава IX
    - ■ Глава X
    - ■ Глава XI
    - ■ Глава XII
    - ■ Глава XIII
    - ■ Глава XIV
    - ■ Глава XV
    - ■ Глава XVI
    - ■ Глава XVII
  - ○ Часть вторая
    - ■ Глава I
    - ■ Глава II
    - ■ Глава III

- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава X

- Часть третья
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
  - Глава XVI
  - Глава XVII
  - Глава XVIII
  - Глава XIX
  - Глава XX
  - Глава XXI
  - Глава XXII
  - Глава XXIII
  - Глава XXIV
  - Глава XXV
  - Глава XXVI
  - Глава XXVII
  - Глава XXVIII
  - Глава XXIX
  - Глава XXX
  - Глава XXXI
  - Глава XXXII
  - Глава XXXIII
  - Глава XXXIV
  - Глава XXXV
  - Глава XXXVI

- Глава XXXVII
- Глава XXXVIII
- Глава XXXIX
- Глава XL
- Глава XLI
- Глава XLII

Мария фон Бок
Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине

© Издание, ООО «Издательство «Эксмо», 2014

* * *

«Родина… требует себе служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу».

П.А. Столыпин

«Иногда мы просто разговаривали: часто говорили про про– / читанное или папа, всегда охотно, отвечал на все вопросы… или сам рассказывал мне что-нибудь. И теперь, через тридцать с лишком лет, когда я вспоминаю эти вечера, становится тепло и светло на душе, укрепляется вера в людей, в смысл жизни, в призвание человека жить для блага ближнего».

Мария фон Бок

Часть первая

Глава I

Мне три года, и я больна. Я лежу в своей кроватке в моей большой полутемной детской: лампа потушена, двери закрыты, и лишь перед иконами мерцает лампада. Меня уже уложили на ночь, дали выпить какой-то вкусный чай – не то липовый, не то яблочный – вместо ежедневного молока. Заходила перекрестить и поцеловать меня на ночь мама́, и, в виде исключения по случаю болезни, приходил и папа́. Сердце радостно забилось, когда издали услыхала я его ровные, неторопливые шаги, а когда он, наклонившись надо мной, положил на мой горячий лоб свою большую, мягкую, свежую руку – так сделалось хорошо, что и боль, и скучный день без беготни – все было забыто. Папа́ бережно подогнул край одеяла, перекрестил меня и, стараясь ступать легко, вышел из детской.

Осталась няня: толстая, старая, добрая няня Колабина. Мне не спится, и я смотрю, как она в своих мягких байковых туфлях хлопотливо и грузно ходит по комнате, прибирая то забытую игрушку, то рюмочку от лекарства. Милая няня Колабина все время бормочет себе под нос что-то довольно невнятное про молодых родителей, которые любят одевать своих детей «по-модному», в носочки да в легкие короткие платьица, не то чтобы послушать старуху няню и связать ребенку толстые шерстяные чулки. «Вот дите и больное».

По правде сказать, болезнь довольно приятная, и я чувствую себя счастливой и очень важной тем, что обо мне так много хлопочут: и блюда готовят особенные и, когда я не хочу есть, не бранят, а уговаривают, да и лекарства вкусные. Главное из них розовое и сладкое, и папа называет его «лекарством медицина». Это, пожалуй, просто ипекакуан, которым меня и впоследствии часто лечили, но я не хочу верить этому, и то лекарство, которое мне так часто, когда я была маленькой, давал с ложечки мой отец, мне до сих пор кажется чем-то особенным.

Но вот няня подошла ко мне и сказала: «Матинька, а ты не спишь? Ну полежи себе тихо, спокойно, не смей прыгать в кроватке, я сейчас вернусь, надо только на кухню сходить». Тут мне и пришла в голову преступная мысль, которая сразу и была приведена в исполнение. Только лишь заглохли нянины шаги, как я в рубашке и босая (что и здоровой запрещалось) выпрыгнула из постели и пробежала во всю прыть до противоположной стены детской и обратно. Когда няня вернулась, я спокойно и невинно лежала под одеялом и лишь старалась скрыть от нее, как быстро я дышу и как горят мои щеки.

Это первое воспоминание моей жизни. И надо же, чтобы это было как раз воспоминание о непослушании, между тем, как я была, кажется, впоследствии очень спокойной и послушной девочкой. Но чувство, как я с бьющимся сердцем бегу в темный угол комнаты, навсегда запечатлелось в моей душе.

Няня Колабина оставалась при мне до четырехлетнего возраста. Помню я ее очень ясно, но думаю, что много здесь помогли рассказы моей матери и фотографии. Помню, например, удивительную песню, которую я пела за ней.

Эта торба не простая,
Эта торба с пирожками,
Пирожки-то не простые,
Пирожки-то с червячками.

И еще:

Два сержанта из окна
Любовались на кота.
Они хлопнули окном,
Побежали за котом.

Но помню также, как она меня учила, что данное слово святыня, что не сдержать его большой грех, и подкрепляла свои слова поговоркой (не знаю, ей ли выдуманной): «Мое слово – господин» и объясняя при этом, что «ты, мол, не властна, раз дала его, преступить его, как я вот не властна сделать чего-нибудь, чего не велят мои господа, твои мама и папа».

Эти первые годы моей жизни мало оставили, конечно, следа в моей памяти, и я точно помню только, что всегда была со мной моя няня, а иногда папа и мама.

Мой отец женился очень молодым, и когда делал предложение моей матери, боялся даже, не послужит ли его молодость помехой браку, о чем и сказал дедушке, прося у него руки его дочери.

Но дедушка, улыбаясь, ответил: «La jeunesse est un defaut duquel on se corrige chaque jour» (Молодость – это недостаток, который исправляется каждый день) и спокойно и радостно отдал свою дочь этому молодому студенту, зная отлично, что лучшего мужа ей не найти. Моему отцу тогда не было еще двадцати двух лет, и он кончил университет уже после свадьбы, даже уже когда я была на свете. Часто потом мои родители вслух при мне вспоминали этот первый год своей счастливой супружеской

жизни. Когда я была старше, мой отец сам рассказывал о том, какой редкостью был в те времена женатый студент и как на него показывали товарищи: «Женатый, смотри, женатый». Когда сдавались последние экзамены, мама, волнуясь больше папа, сидела в день экзаменов у окна, ожидая его возвращения.

Подходя к дому, мой отец издали подымал руку с открытыми пятью пальцами, значит, опять пять. Кончил он естественный факультет Петербургского университета, и экзаменовал его, наряду с другими, сам Менделеев. На одном из экзаменов великий ученый так увлекся, слушая блестящие ответы моего отца, что стал ему задавать вопросы все дальше и дальше; вопросы, о которых не читали в университете, а над решением которых работали ученые. Мой отец, учившийся и читавший по естественным предметам со страстью, отвечал на все так, что экзамен стал переходить в нечто похожее на ученый диспут, когда профессор вдруг остановился, схватился за голову и сказал: «Боже мой, что же это я? Ну, довольно, пять, пять, великолепно».

Первые годы мои родители провели в Петербурге, где мой отец, по окончании университета, служил в статистическом отделе министерства земледелия.

Кроме родителей и няни, я помню только еще одно лицо: Аграфену, старушку из крепостных, прислуживавшую моему отцу в его холостые, студенческие годы. Она изредка приходила навещать нас, и я хорошо запомнила ее посещения, потому что на меня всегда производило сильное впечатление, как мой отец держался с ней. Он ее сажал, просто и сердечно, как с равной говорил и целовался при встрече. Потом про нее рассказывали, когда подавался заяц: «А вот Аграфена ни за что не сжарила бы зайца, так как твердо верила в то, что у него «семь шкур», которые она никак снять не сумеет». Долгие годы интриговали меня эти семь заячьих шкур!

Ко времени, о котором я пишу, т. е. к 1884–1889 годам, относится близкое знакомство моих родителей с поэтом Апухтиным, прелестные стихи и проза которого теперь, к сожалению, слишком мало известны молодому поколению. Много мне о нем впоследствии рассказывали, и одно время в моей классной комнате стояло кресло, называвшееся «апухтинским», так как оно было у нас единственное, на которое Апухтин мог садиться. Кресло это было исключительной ширины, удобное для поэта, знаменитого своей необыкновенной толщиной. И то раз, вставая, он поднял его вместе с собой! Глядя на это кресло, всегда мне вспоминались строки Апухтина:

Жизнь пережить – не поле перейти!

Да, жизнь трудна, и каждый день трудней,
Но грустно до того сознания дойти,
Что поле перейти мне все-таки трудней.

У моего отца, когда он еще был студентом, был кружок наиболее близких друзей, к которым часто присоединялся и Апухтин, хотя был он многим старше большинства из них.

Собиралась молодежь мыслящая, интересующаяся всеми жизненными, захватывающими ум и душу вопросами, жившая прекрасными и высокими идеалами. Благодаря посещениям людей типа Апухтина кружок этот приобрел в Петербурге такую славу, что многие представители петербургского света, часто люди уже зрелые, стали не только стараться попасть в это общество, но даже заискивали перед ним.

И после женитьбы моего отца Апухтин стал бывать в нашем доме. Читал он у нас в рукописи свое знаменитое «Письмо». Он даже спрашивал, читая стих:

«Склонив головку молодую
И приподняв тяжелое драпри»,

совета, чем заменить слово «драпри», которое он находил претенциозным, но так и не нашел другой рифмы к «зари».

Глава II

Вот то немногое, что я запомнила сама и что знаю по рассказам старших из нашей жизни в Петербурге, до назначения моего отца предводителем дворянства Ковенского уезда. Мне было четыре года, когда мы переехали в Ковну, но я ничего не помню ни об отъезде, ни о приезде туда, разве лишь то, что я в вагоне спала на верхней койке и говорила, что лежу на «полочке». Мне было очень весело до того момента, как вдруг, через испорченный вентилятор вагона, стал на меня идти снег. Мама покрыла меня своей шубой, а папа, при первой остановке, пошел жаловаться на неисправность вагона.

В Ковне мы поселились в старом городе, против ратуши. Дом этот и сейчас стоит там, рядом с разрушенным германскими снарядами во время Мировой войны домом архиерея. Этот дом был настолько неудобен и настолько далек от теперешних понятий о комфорте, что моему отцу приходилось, например, из спальни ходить одеваться в свою уборную через двор, надев на халат пальто.

Первое время была при мне еще няня Колабина, с которой я ходила гулять на близлежащую набережную Немана. С самого раннего детства знала я, в каком месте Наполеон перешел со своей армией Неман и в каком доныне стоящем на набережной доме он в 1812 г. останавливался. Высота набережной, дома, горы на противоположном берегу в Алексотах, пароходы на Немане – каким все это казалось мне огромным и прекрасным, когда я гуляла по Ковне, держа за руку няню, и каким маленьким и незначительным показалось мне это, когда я, после долгих лет, уже замужем снова попала туда.

Алексоты (предместье Ковны по другую сторону Немана) находились уже в Сувалкской губернии, где, как и во всем Царстве Польском, был введен новый стиль. В Ковне по этому случаю задавалась загадка:

«Какой самый длинный в мире мост?» Следовал ответ:

«Неманский, потому что через него надо проезжать 12 дней».

Моего отца я мало помню в эти годы. Знаю лишь, что он, как и всегда, много работал, очень интересовался своей службой и, благодаря своей энергии и любви к делу, оживил ее новым, животворным дыханием. Впоследствии сам он мне не раз говорил о том, насколько интереснее и разнообразнее работа уездного предводителя дворянства, нежели губернского. Последний может, если сам себе не создаст работы, сидеть сложа руки, ограничивая свою службу приемами дворян, обедами, и вообще лишь

необходимым представительством. Такую чисто декоративную роль играл предшественник моего отца граф Зубов, один из крупнейших помещиков Ковенской губернии. За долгие годы своего пребывания на этом посту граф Зубов всегда лишь наездами показывался в Ковне, проводя время в одном из своих многочисленных имений.

Моя мать, попав в провинциальный город впервые, чувствовала себя сначала в Ковне очень неуютно и скучала. Потом, когда она обжилась, познакомилась с ковенским обществом, в котором оказалось много милых людей, она очень полюбила Ковну и до сих пор любит вспоминать проведенное там время, как один из счастливейших периодов в своей жизни. Но тогда ей, молодой светской женщине, многое казалось смешным и скучным в тихой провинциальной глуши, после Петербурга и Москвы.

Случались, действительно, очень забавные инциденты, рассказ о которых может теперь показаться анекдотом. Мой отец говорил моей матери, что нужно стараться составить себе кружок знакомых, приглашать к себе, развлекать, принимать общество. Послушная во всем своему мужу, мама, при первом показавшемся ей удобном случае, обратилась к какому-то господину, представившемуся ей, совсем не разбиравшейся в губернской иерархии, очень важной шишкой, с приглашением прийти на «чашку чая», на что последовал в высшей степени неожиданный ответ: «Нет, спасибо, не приду». И еще неожиданнее прозвучало объяснение в ответ на вопрос моей матери: «Почему же?» – «Да так, знаете, что-то не хотится». Потом оказалось, что это был исправник, из кантонистов, понявший, что приглашение сделано по неопытности, но не умеющий облечь свой отказ в более светскую форму.

Поступил к нам в то время лакей Казимир, нигде еще не служивший молодой парень, только что отбывший воинскую повинность. Потом он долгие годы служил у нас и умер в нашем доме, когда мой отец, уже министром, жил в Елагином дворце в Петербурге. Но в то далекое время он был абсолютно еще не отесан, и моим родителям много пришлось поработать над его воспитанием. В самом начале своей карьеры Казимир очень отличился. Ему было как-то приказано «не принимать» гостей, говоря «дома нет». Звонок. Кабинет рядом с передней, и мой отец, сидя за письменным столом, видит, к своему ужасу, через открытую дверь отражающуюся в зеркале картину: господин входит в переднюю, а Казимир молча, ласковым движением, берет его за плечи, поворачивает и тихонько выталкивает на улицу.

Моему отцу, конечно, не оставалось ничего другого, как вскочить, догнать изумленного визитера и, с извинениями, вернуть его, тогда как Казимир, качая головой, дивился барским причудам: то, мол, велят не принимать, то сами войти просят!

Глава III

Патриархальные нравы царили в милой Ковне 90-х годов прошлого столетия, и внешний облик города как нельзя лучше подходил к уютной жизни его обитателей.

По бокам улиц тянулись деревянные тротуары, а рядом с ними текли ручейки грязной воды, через которые были перекинуты слегка горбатые мостики. Зимой по замерзшим ручейкам лихо носились на одном коньке уличные мальчишки. Как я им завидовала! И как досадовала на Эмму Ивановну, немку, сменившую няню Колабину, за то, что она, по непонятным мне тогда причинам, не позволяла присоединиться к ним. Улицы были мощены поразительно выпуклыми булыжниками, по которым тряслись и немилосердно шумели дрожки гарнизонных офицеров, большинство еще без резиновых шин. Так же тряслись и красные, как бифштекс, щеки полковника Пыжова, когда он, к радости моей и всех гуляющих по бульвару, сам объезжал в шарабане вороного своего жеребца.

Все были знакомы друг с другом, если не лично, то все же знали, кто это, и появление нового лица на улицах возбуждало толки и пересуды. Когда брали извозчика, тот спрашивал: «Домой прикажете или в гости изволите ехать?»

Лавочки были маленькие, убогие, и выставленные в окнах товары стояли там месяцами, покрытые густым слоем пыли.

Веселье в уличную жизнь вносили солдаты, часто проходившие по городу с музыкой, и еще больше парады на Соборной площади в торжественные дни высочайших праздников.

Из дома в старом городе, где мы поселились сначала, мы скоро переехали в маленький деревянный домик с большим садом на одной из боковых улиц центральной части города. Улица эта вообще не была мощена, и по городу ходил анекдот, что когда кто-нибудь нанимал извозчика, чтобы ехать к нам в осеннее или весеннее время, тот отвечал: «Если к Столыпиным желаете, лодку нанимайте, а не меня». И я хорошо помню громадную лужу перед нашими окнами.

Тогда я еще была единственным ребенком моих родителей и пользовалась нераздельными их ласками. Очень я также полюбила старушку Эмму Ивановну, добрейшую и ворчливую, вынянчившую двоюродных братьев и сестер моей матери и носившую когда-то и ее на руках.

Самым чудным временем дня были вечерние часы, после обеда, когда можно было пойти в кабинет, влезть на мягкую оттоманку, прижаться к папа и слушать чудные сказки, которые

он рассказывал. Сказки эти меня интересовали еще много лет спустя, когда они рассказывались моим маленьким сестрам. Были они так занимательны, что моя мать, с работой в руках, тоже всегда приходила их слушать. Да как было и не увлечься приключениями «Девочки с двумя носиками» (это для самых маленьких) или жизнью детей в «Круглом доме»?

Весь день мой отец был занят: то работал у себя за письменным столом, то был в присутствии, то на заседаниях. Кабинет был для меня с раннего детства святая святых. Даже в комнате, рядом с кабинетом, мне бы никогда не пришло в голову говорить не шепотом. Ко всякому делу папа относился с исключительным вниманием и уважением. Помню, как мой отец возмутился, когда приехавший неожиданно к нам старый дядя моей матери, граф Буксгевден, нарушил происходившее под председательством папа заседание.

Глава IV

Кроме текущей предводительской работы, у папа было все время стремление создавать что-нибудь новое. За его службу в Ковне, сначала в должности уездного, а затем губернского предводителя дворянства, многое им было проведено в жизнь и многое начато. Любимым его детищем было Сельскохозяйственное Общество, на устройство которого он положил много времени и сил и работа которого вполне оправдала его надежды. Был при нем склад сельскохозяйственных орудий, устройство которого особенно увлекало папа. Молодой, энергичный и деятельный, мой отец рьяно принялся за работу с первого же дня своей службы и до последнего дня с тем же интересом предавался ей, кладя все свои силы на то, чтобы в своей сфере создать все, от него зависящее, для процветания края. Кроме Сельскохозяйственного Общества и склада по его почину был построен в Ковне Народный дом, и много времени он проводил там, следя за устройством ночлежного отделения, чайной, за правильной постановкой чтения для рабочих и народа вообще; за устройством представлений и народных балов. Мои родители всегда ездили на эти представления и, помню, с каким энтузиазмом они рассказывали о первом представлении кинематографа, об этих «удивительных движущихся картинах». И моя гувернантка, и я слушали, не веря ушам, как в этом новом «волшебном фонаре» ясно видно, как дети дерутся подушками, видны их движения, виден летающий по воздуху пух, вырывающийся из лопнувшей подушки.

Но вообще вечера, когда родители уезжали из дома, были редки. Кроме посещения нескольких представлений за зиму в Народном доме, они изредка бывали в городском театре, но почти исключительно на гастролях проезжавших через Ковну знаменитостей. Ковна лежала по дороге из Петербурга в Берлин, и случалось, что ездившие в турне артисты оставались на один, два дня у нас, и тогда, конечно, маленький ковенский театр бывал битком набит публикой.

Еще реже случалось, чтобы папа и мама проводили вечера в гостях, у нас же близкие знакомые и друзья бывали часто. Приходили они поздно; сразу же после обеда мой отец всегда уделял часок нам, детям. Сначала я одна слушала сказки, о которых я уже упоминала, а потом и сестры, понемногу подраставшие, уютно усаживались вокруг папа на оттоманке в кабинете. После сказок, игр и разговоров их посылали спать, а папа садился за письменный стол: что-то писал, что-то

подписывал. Приходил секретарь с бумагами и долго, стоя рядом со столом, о чем-то мне непонятном докладывал и клал перед папа бумаги для подписи. Годами помню я ту же картину по вечерам: мой отец за письменным столом, моя мать на диване с работой. Иногда кто-нибудь из друзей рядом с ней. Ведется общий разговор, в который изредка вставляет свое слово папа, повернувшись на своем стуле с круглой спинкой. Потом, когда Казимир приносит вечерний чай, папа пересаживается к остальным и, если есть гости, то разговаривают до десяти, одиннадцати. Если же мои родители одни, то читают вслух друг другу, а ровно в одиннадцать идут спать. Так были прочтены почти все исторические романы Валишевского, так читалось «Воскресенье» Толстого, когда оно печаталось в «Ниве», и многое другое из русской, французской и английской литературы.

Эти уютные вечера я помню с самого детства моего до 1902 года, когда папа был назначен Гродненским губернатором и когда уклад всей нашей жизни резко изменился.

Из маленького домика на Лесной улице в 1892 году мы переехали в большой дом на Соборной площади, в котором занимали сначала одну часть второго этажа, а потом, по мере рождения детей, прибавлялось по комнате, и нами постепенно был занят весь этаж.

Сразу же после обеда, до того, чтобы перейти уже на весь вечер в кабинет, мама садилась к своему письменному столу в гостиной, являлся повар и приносил счета и меню на следующий день. Счета эти составляли мучения моей матери, всегда до щепетильности аккуратной, но очень плохой математички: как-то выходило, что вечно копейки сходились верно, а рубли нет, и то и дело призывался на помощь папа, который с улыбкой садился за приходорасходную книгу, проверял итог и, поправив все дело, уходил снова к себе.

Двери были все открыты, кроме редких случаев, если был кто-нибудь вечером у папа по делам, и я, сидя за приготовлением уроков в столовой, с интересом слушала, что-то будет завтра к завтраку и обеду, и от души смеялась, когда папа вмешивался в этот хозяйственный разговор. Стоит, например, старый повар Станислав, а мама говорит ему:

– Что ты все котлеты даешь, дай завтра курицу.

– Курицу, – глубокомысленно повторяет Станислав, – курицу купить надо.

– А ты попробуй, укради, – раздается голос папа из кабинета. Мама весело смеется, а Станислав, не понимая шутки, с недоумением смотрит на дверь.

Обедали в те времена в шесть часов и лишь под самый конец

ковенской жизни в семь, так что вечера были длинные.

Завтракали в половине первого. После обеда взрослые пили кофе за столом, а детям разрешалось встать. Когда мама кто-нибудь дарил конфекты, они хранились у папа в письменном столе, и мы получали после обеда по одной конфекте.

– Ну, дети, бегите в кабинет за конфектами, – говорит мой отец, а моя маленькая сестра Олёчек вдруг громко с чувством восклицает:

– Папа, как я вас люблю!

– Только за конфекты и любишь? – говорит, смеясь, папа.

– Нет, тоже и за подарки, – говорит Олёчек, глядя своими честными детскими глазами прямо в лицо отца.

Долго ее, бедненькую, дразнили этой фразой. Так и протекли мирно и счастливо двенадцать лет нашей жизни в Ковне. Ежегодно: пять месяцев в Ковне и семь месяцев в Колноберже, нашем имении Ковенской губернии. И эти годы мой отец всю свою жизнь вспоминал с самым теплым чувством, как и всех своих сослуживцев, подчиненных и помощников по Сельскохозяйственному Обществу, одинаково как русских, так и поляков.

Училась я дома, сначала с моей матерью и гувернантками, потом с учительницами, приходящими к нам на дом и о приходе которых Казимир докладывал: «Мария Петровна, мучительница пришла», а потом и с учителями Ковенской гимназии. С третьего класса я стала сдавать при гимназии экзамены, и мои родители с большим вниманием следили за моими уроками, справляясь ежедневно у учителей о моих успехах и внимании и часто сами присутствовали на уроках. Я училась в комнате рядом с кабинетом папа. Когда он бывал дома, то всегда открывал двери, чтобы слышать урок.

А из арифметических задач, заданных в виде домашних работ, я, кажется, никогда ни одной не решила без помощи папа. Промучившись целый час над бассейном, наполняющимся через две трубы, одну широкую, другую узкую, или над тем, сколько сделает в данное время поворотов большое колесо и сколько маленькое, идешь с тетрадкой и задачником Малинина и Буренина к папа, зная, что, если только он не занят экстренной работой, то отложит в сторону бумаги или книгу, возьмет твою тетрадь, испачканную десятком неправильных решений, и ласково скажет:

– А ну-ка, давай подумаем вместе.

Иногда сразу же удавалось решить задачу, но бывало и так, что папа решит ее тотчас же в уме, посмотрит ответ – верно, а объяснить мне никак не может:

– Алгебраически я тебе сразу объясню, – говорит папа, – а как это делается арифметически, надо подумать.

Я шла готовить другие уроки, а папа, найдя ясное и точное объяснение, звал меня.

А раз было так. Помню, что дело шло о цене коляски и дрожек. Папа просидел над этой задачей довольно долго, послал меня спать, а утром я нашла на своем столике бумагу, на которой красиво и четко была написана решенная задача, а в конце стояла приписка:

«Остается нерешенным вопрос, где продаются такие дешевые экипажи?»

Должна сознаться, что я всегда честно каялась учителям в том, что задачи решаю не одна. Учителя были все очень хорошие, и уроки всегда интересны, только несчастная математика с Аароновым очень уж приходилась мне не по душе и предмет нелюбимый, мало понятный и сухой, и учитель менее других умеющий внушить любовь к науке. И в гимназии Ааронова тоже не любили, и ученики всегда с злорадством представляли, как он задает задачу, а потом, углубившись в нее, говорит:

– Ну, это трудновато, я вам завтра объясню.

На следующем уроке, когда его спрашивали про эту задачу, он говорил:

– Задача неинтересна, возьмемте другую.

Раз мои родители увидали его в театре Народного дома, и когда на следующий день он пришел ко мне на урок, папа спросил его, понравилось ли ему там? На это Ааронов ответил, что представление то хорошее, но публика плоха, и что он там «подвергся оскорблению Товия». Мы так и не поняли, что это значит, и как-то стеснялись показать свою необразованность и спросить объяснения. Долго эта фраза оставалась для нас загадкой, пока, наконец, кто-то из знакомых не сумел объяснить, что Товий, по Библии, был оплеван народом. После этого инцидента бедный наш математик окончательно упал в глазах своих учеников, которые, вместо того чтобы пожалеть, подняли его на смех.

Но зато другие учителя, особенно преподаватель русской словесности, были очень хороши, и я с удовольствием ждала уроков.

К весне уроки делались труднее, учителя взыскательнее, чувствовалось приближение экзаменов. Но, несмотря на это, училось легче, все казалось интереснее и значительнее, когда начинало пригревать солнце, позже зажигались лампы, и все ближе и ближе придвигался день переезда в Колноберже.

А когда Казимир первый раз настежь открывал замазанные на

зиму окна и комнаты вечером вдруг наполнялись торжественным гулом большого соборного колокола и сладким запахом тополей, становилось на душе так светло, что и экзамены не пугали, и вся жизнь представлялась радостным праздником.

Ко всенощной я ходила почти всегда с матерью, а к обедне с отцом. После же обедни каждое воскресенье папа ходил покупать со мной в кондитерскую угощение на «танц-класс». Модные кондитерские были в то время – Перковского и «Ренессанс». Рассказывали, одна девочка в гимназии на вопрос учителя, как называется еще иначе эпоха Возрождения ответила: «Перковский» вместо «Ренессанс».

У Перковского покупателю давались бумажные салфеточки со стихами, приводившими в восторг папа и начинающимися так:

Когда теснится в сердце грусть,
Когда гнетет тебя сомненье,
Когда карман твой лишь не пуст,
Ты у Перковского забвенье
В его кондитерской найдешь,
Душе покой там обретешь.
Чего, чего там только нет.
Каких bonbons, каких конфект
Торт…

И следовал длинный перечень (все в стихах) всевозможных изделий кондитерского искусства, весьма разнообразных и весьма многочисленных. Папа очень забавляло нарочно спросить какое-нибудь печенье с замысловатым названием из поименованных на бумажке, но так и не удалось поймать приказчика: немедленно приносились и торт «Фантазия», и все, что было указано в стихах.

После завтрака мы шли переодеваться, а ровно в три часа из столовой, где Казимир уже успел отодвинуть стол к стене, доносились звуки рояля. Тапер играл «шаконь» или «падепатенер» (так был обозначен модный тогда «Pas de patineur» в программе учителя танцев Лейкинда). Сам Лейкинд, во фраке, ходил по комнате и ждал учеников, которые скоро и являлись. Девочки в легких платьицах, мальчики в матросках и гимназических мундирах становились в ряд и сначала изучали «позиции», а потом танцевали. Родители сидели с мама тут же за чайным столом. Раза два за урок заходил посмотреть на нас и папа. А однажды, когда у нас гостили дядя Сергей Дмитриевич и тетя Анна Борисовна Сазоновы, и собралось много народу, неожиданно организовался целый бал. Танцевали все родители, а Лейкинд с вдохновением носился по зале, дирижируя настоящим

балом.

На второй день Пасхи мама устраивала детский бал, на котором мы танцевали уже без Лейкинда выученные за зиму танцы. Один раз кто-то из нас, детей, накануне Пасхи заболел гриппом. Зараза мигом перекинулась на других, и ко дню бала были больны не только все пятеро детей, но и папа, и гувернантка, и часть прислуги. Одна почти никогда не болевшая мама была и тут здорова. Надо было срочно писать отказы всем приглашенным. Мама сидит за своим письменным столом в гостиной. Папа лежит в кабинете на оттоманке. Когда мой отец бывал простужен, у него сразу подымалась температура и все время, даже при легкой простуде, он то спал, то находился в полузабытье. Когда же он просыпался, то шутил и старался быть веселым. Мама громко говорит: «Вот скучно писать эти карточки… и ведь надо стиль варьировать», а папа, очнувшись на минуту из полудремоты, тут же отвечает:

– А ты не старайся так, а напиши всем одно и то же, но в стихотворной форме, могла бы даже дать напечатать. Например так:

Плохи делишки,
Больны детишки,
И детский бал
Совсем пропал!

Глава V

Вскоре после Пасхи начинались сборы в Колноберже. Переезды наши из Ковны в деревню были всегда очень сложны, хлопотливы, оживлены, утомительны для мама и веселы для детей.

Пока я была одна или нас было всего двое, трое, ничего трудного не было, но с увеличением семьи в таком путешествии увеличивались и хлопоты. Когда же, под конец нашей жизни в Ковне, нас уже было пять сестер, то переезжали мы сам двадцать.

Кучер Осип, переезжавший также на зиму в Ковну, уезжал заранее с каретой, чтобы встретить нас на станции в Кейданах. Все же остальные – вся семья, гувернантки, прислуга – ехали до вокзала в целом, нарочно для этого нанятом вагоне конки. «Парк» конок был рядом с нашим домом, и мы веселой гурьбой, с дорожными мешками, пакетами и корзинками, наполняли собой целый вагон конки, из которого пересаживались на вокзале в железнодорожный вагон «микст», нанятый также целиком папа. В первом классе устраивалась семья с гувернантками, няней и кормилицей младшей сестры, а во втором классе – прислуга. Так ехали мы от Ковны до Кейдан – всего шестьдесят верст – девять часов времени, простаивая долгие часы в Кошедарах, узловой станции, где вследствие несогласованности поездов все пассажиры были обречены на долгие ожидания.

Мой отец, проводивший летом половину недели в Ковне, всегда шутя говорил потом, что половину времени своей службы предводителем он провел на кошедарском вокзале.

Мы же детьми эти Кошедары очень любили. Заранее письменно заказывался в станционном буфете завтрак, и все, что там подавалось, казалось нам, детям, необычайно вкусным. Долгие годы спустя, когда где-нибудь какое-нибудь блюдо нам очень нравилось, мы говорили: «Совсем как в Кошедарах». Это была высшая похвала.

Встречал нас в буфете владелец его, Бодиско, на которого я смотрела с удивлением, благоговением и завистью, как на некоего Гарун аль-Рашида по богатству и могуществу. Он подходил к стойке, выбирал несколько коробок конфект и, ничего не платя, раздавал их нам. Все ведь это было его собственное! Это ли не счастье?

В Кейданах нас встречали: батюшка, отец Антоний Лихачевский, доктор, Иван Иванович Евтуховский, следователь, мировой посредник – словом, все кейданские знакомые. Первые два были старыми друзьями и знали еще дедушку, когда он жил в

Колнoберже.

А перед вокзалом ждала целая вереница экипажей и телег. Не сразу удавалось всех рассадить и устроить. По несколько раз пересчитывался ручной багаж… всегда чего-нибудь не хватало…

Наконец все расселись, все уложено и, мерно покачиваясь на мягких рессорах, первая двинулась карета, запряженная четверкой цугом, с мама, кормилицей и младшим ребенком, с кучером Осипом, в цилиндре и с длинным бичом, на козлах. За ней следует коляска с папа, если он переезжает с нами, и старшими детьми, а дальше «курдянка», «нытычанка», «тележка», и последней проезжает нагруженная сундуками и корзинами телега, подпрыгивая по мостовой станционного двора.

Выехав на большую дорогу, мы сразу охвачены такой тишиной, так пьянит ароматный весенний воздух, и так переполнена душа щемящим, до боли сладким чувством счастья, что не знаешь сама – смеяться или плакать, и, растерянно, блаженно улыбаясь, со слезами на глазах смотришь вокруг.

А кругом тебя все такое родное, милое, бесконечно любимое. Вот дремучий Бабянский лес, вот домик столяра Мейера, вот имение Комаровского с красивыми хозяйственными постройками; а вот там, вдали, виднеется по левую сторону дороги наша Марьина роща.

Значит, Колнoберже близко, значит, сейчас мы дома! Дома на длинные летние месяцы. Экзамены и учителя позади, а впереди ряд светлых, теплых дней, прогулки, купанье в Невяже, свидание со всеми любимыми обитателями Колнoберже – людьми и животными.

Меня охватывает такое глубокое чувство счастья, что, как бы ища поддержки, смотрю на папа. Понимают ли взрослые, что у меня на душе и чего я сама понять не могу?

Но только взглянула, сразу вижу – да, понимает. И не только понимает, но и сам чувствует то же. Папа ласково, нежно улыбается, смотрит на меня, треплет по щеке своей красивой белой рукой и тихо говорит:

«А хорошо в деревне, Матя. Тишина-то какая! Воздух до чего чист! Жаль всех тех, кто в Ковне сидит – вонь, духота, пыль. А мы сейчас с тобой к парникам пойдем, посмотрим, есть ли огурчики свеженькие?»

Около въездных ворот в усадьбу, украшенных, по случаю нашего приезда, зеленью и флагами, стоят, выстроившись в два ряда, наши рабочие: с одной стороны – мужчины, с другой – женщины. Этого папа не любит: он враг всякой театральности вообще, а тут люди сошлись по приказанию управляющего.

– И к чему отрывать их от работы, а женщин от домашнего

хозяйства? – говорит папа, недовольно морщась, Оттону Германовичу. Но управляющий, Оттон Германович, послушный и исполнительный во всем остальном, в этом никак не может отказаться от раз заведенного обычая. Как же это, господа приехали, а их рабочие не встретят с честью? Не годится это. И на следующий год повторяется то же самое.

Глава VI

Колноберже было получено дедом моим, Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, за карточный долг. Его родственник Кушелев, проиграв ему в яхт-клубе значительную сумму денег, сказал:

– Денег у меня столько сейчас свободных нет, а есть у меня небольшое имение в Литве, где-то около Кейдан. Я сам там никогда не был. Хочешь, возьми его себе за долг?

Так и стало принадлежать нашей семье наше милое Колноберже, унаследованное потом моим отцом.

Были у моих родителей другие имения и большие по размерам и, быть может, более красивые, нежели Колноберже. Но мы, все дети, их заглазно ненавидели, боясь, что вдруг папа и мама заблагорассудится ехать на лето в Саратовскую, Пензенскую, Казанскую или Нижегородскую губернию, что мне и моим сестрам представлялось настоящим несчастьем. Было у нас еще имение в Ковенской же губернии на границе Германии, куда, за отсутствием в той местности нашей железной дороги, папа ездил через Пруссию. Он всегда много рассказывал о своих впечатлениях, возвращаясь из такой поездки «за границу», восхищаясь устройством немецких хуторян и с интересом изучая все то, что считал полезным привить у нас. И многое из виденного и передуманного послужило ему основой при проведении им земельной реформы много лет спустя.

Раз в год папа объезжал и остальные наши земли. В своем Казанском имении мама бывала до замужества, но из нас никто нигде там не был, и знали и любили мы только Колноберже.

Папа тоже очень любил Колноберже: он там проводил лето еще мальчиком со своими родителями, которым с первого же раза, как они туда приехали, понравилось имение.

Дед мой, Аркадий Дмитриевич Столыпин, был флигель-адъютантом Александра II, а затем свиты генерал-майором. В это время вышло распоряжение императора, что свитские генералы, при производстве в генерал-лейтенанты, не зачисляются в генерал-адъютанты, последствием чего был уход в отставку трех старших генералов свиты, в том числе и Аркадия Дмитриевича.

Желая жить неподалеку от так полюбившегося ему Колноберже, дед мой купил себе дом в Вильне, где семья стала проводить зиму и где мой отец учился в гимназии, которую там и кончил.

Когда началась в 1877 году война с Турцией, Александр II проезжал через Вильну, где Аркадий Дмитриевич встречал его на

вокзале. Увидя его в придворном мундире, государь сказал:

– Как грустно мне видать тебя не в военной форме.

– Буду счастлив ее надеть, ваше величество, – отвечал дедушка.

На это император сказал:

– Тогда надень мои вензеля. Поздравляю тебя с генерал-адъютантом и назначаю тебя командовать корпусом действующей армии.

Дедушка оставил по себе память в Восточной Румелии, где он очень отличался и во время военных действий, и при управлении краем русскими, занимая должность генерал-губернатора этой области.

Бабушка моя последовала за мужем на войну и заслужила бронзовую медаль за уход за ранеными под неприятельским огнем.

Бабушку Наталью Михайловну Столыпину помню я очень смутно, больше по рассказам, так как скончалась она, когда мне было четыре года. Дедушку же, Аркадия Дмитриевича, помню отлично: я очень его любила. Высокий, стройный и худой, всегда бодрый, веселый и общительный, он мне очень нравился своей жизнерадостностью. С самого малолетства я с огромным удовольствием слушала его шутки, смотрела чудные фокусы, которыми он меня забавлял, и играла с ним в разные игры. Но больше всего забавляло меня покурить из его трубки. Это было, когда он уже жил в Кремле, комендантом которого он был последние шесть лет своей жизни. После обеда мы подходили благодарить дедушку, пока взрослые, еще сидя за столом, пили кофе, и он давал каждой из нас покурить из своей длинной трубки, касавшейся пола, которую приносил ему лакей к кофе; и как раскатисто смеялся он, когда мы, вместо того, чтобы тянуть дым в себя, что есть мочи дули в отверстие трубки.

Занимал дедушка в Кремле огромные апартаменты с целым рядом больших, пустых, неуютных гостиных. В конце же анфилады был его кабинет, где он всегда и сидел. Там было все красиво и, несмотря на очень большой размер комнаты, очень уютно.

Одна из комнат была музыкальным салоном. Дедушка, будучи хорошим музыкантом, с увлечением играл на своем Страдивариусе, сам писал музыку и раз у себя дома поставил целую оперу, «Норму», прошедшую с большим успехом. Была у него и студия, где он занимался скульптурой и часто подолгу там работал.

Очень дедушку огорчало, что никто из его детей не унаследовал его способностей к музыке. Он надеялся, что может

быть, эти способности скажутся во внуках, и я, как сейчас, помню, как дедушка сидит за роялем, левой рукой обнимает меня за талию, а правой берет одну ноту за другой и велит мне спеть ее. Но я так немилосердно фальшивлю, что он безнадежно машет рукой и говорит:

– Ну, видно, надежды нет и ты вроде своего отца и дяди.

И рассказывает, что, когда мой отец был маленьким, зашел как-то за столом разговор о том, что он абсолютно ничего в музыке не смыслит и что никогда он даже не оценит выдающееся музыкальное произведение. Вдруг раздается обиженный голос моего отца:

– Вы ошибаетесь: мне третьего дня очень понравился прекрасный марш.

Дедушка и бабушка с радостью переглядываются: слава богу, наконец!

– Где ты его слышал этот марш? Это когда ты был в опере?

– Нет, в цирке, когда наездница прыгала через сердо.

После этого дедушка уже не пытался развивать слух своего сына.

Его брату, Александру Аркадьевичу, по просьбе дедушки, стал пробовать голос сам Антон Рубинштейн, но после первого же опыта воскликнул:

– Ну, действительно, вам медведь на ухо наступил!

В спальне у дедушки стояла огромная клетка с массой самых разнообразных птиц, которые будили его своим пением с восходом солнца. Это дедушка очень любил.

Но не только в Кремле помню я дедушку. Помню его и в Петербурге, где он одно время жил, и в Колноберже, где он нас навещал. Приезжал он всегда неожиданно. Страшно любил устраивать сюрпризы. А раз было даже так: мама и папа гуляют в Ковне по бульвару и вдруг видят – едет дедушка на извозчике. Не веря своим глазам, они останавливаются, а дедушка громко и весело им кричит:

– Только что приехал на два дня, остановился у Левинсона (лучшая гостиница того времени – *М. ф. Б.*), сейчас еду к вам.

В Колноберже он тоже раз приехал на «завирухе» – еврее-извозчике, развозившем путешественников по окрестностям станции Кейданы. Этому же «завирухе» принадлежали крытые «балагулы», в которых он развозил бедных евреев, причем там было два класса: первый внутри телеги, второй же – «ноги на двор»: евреи сидели свесивши с телеги ноги, за что платили лишь три копейки вместо пяти.

В 1898 году мы довольно долго гостили у дедушки в Кремле, когда приезжали в Москву на свадьбу сестры моей матери, Анны

Борисовны, с Сергеем Дмитриевичем Сазоновым, тогда секретарем нашего посольства в Лондоне, впоследствии министром иностранных дел. Венчались они в дворцовой Кремлевской церкви, куда был ход прямо из помещения дедушки. Папа оставался в Ковне и приехал лишь за два дня до свадьбы, не желая отлучаться на более долгий срок из-за службы. Кроме того, родители не хотели оставлять на продолжительный срок мою трехмесячную сестру Олёчка на одну кормилицу и няню.

В день приезда папа мы пошли с дедушкой покупать для нас игрушки. О дне приезда папа никто точно извещен не был. Проходя Спасские ворота, мы увидели опережающего нас на извозчике папа. Он нас узнает, снимает шляпу весело машет и кричит: «Папа!» Дедушка, как-то растерянно повернувшись ко мне, спросил меня, кто это. Я видела, что дедушка был не уверен, папа ли это и хотел слышать от меня подтверждения радостной догадки и, когда я подтвердила, что это папа, он пошел вдруг скоро, скоро к дому, и тут первый раз в жизни показался он мне стареньким. Всегда он ходил бодрым ровным шагом, с военной выправкой и казался мне почти таким же молодым, как папа.

Вскоре после этого дедушка Аркадий Дмитриевич скончался от заворота кишок, промучившись целые сутки. Доктора говорили, что лишь его богатырский организм смог вынести такие страдания так долго.

По необъяснимой небрежности телеграфных чиновников в Кейданах, три телеграммы – о том, что дедушка заболел, что положенье его безнадежно и что он скончался, – были нам в Колноберже доставлены одновременно, и мои родители уже не застали его в живых. Весь день до отъезда на поезд я почти не видела папа, не выходившего из своего кабинета, а вечером, когда я пошла к нему проститься, он меня обнял и сказал:

– Какая ты счастливая, что у тебя есть отец.

И я увидела, что все лицо его было мокро от слез.

По возвращении моих родителей из Москвы мама много рассказывала про похороны, очень многолюдные и торжественные. Помню, что великий князь Сергей Александрович сказал: «C'est un des derniers grands-seigneurs que nous enterrons aujourd'hui (Мы сегодня хороним одного из последних Вельмож.). Помню также, как много говорили о Льве Николаевиче Толстом в связи с кончиной дедушки.

Толстой был другом дедушки, был с ним на «ты», но не только не приехал на похороны, но даже, после кончины дедушки, ничем не высказал своего сочувствия. Когда ему кто-то об этом заметил, он ответил, что мертвое тело для него ничто и что он не считает достойным возиться с ним, причем облек свое

объяснение в такую грубую форму, что я не берусь его повторить дословно.

Дедушка рассказывал, что, бывая у Толстого в Ясной Поляне, часто разговаривал о нем с мужиками. Один из них показал свои сапоги, поясняя, что их сам граф сшил, и на вопрос дедушки, хороши ли они, ответил:

– Только в них и хорошего, что даровые, а так совсем плохи.

Впоследствии, когда мой отец был уже председателем Совета Министров, Толстой неоднократно писал ему, обращаясь, как к сыну своего друга. То он упрекал его в излишней строгости, то давал советы, то просил за кого-нибудь. Рассказывая об этих письмах, мой отец лишь руками разводил, говоря, что отказывается понять, как человек, которому дана была прозорливость Толстого, его знание души человеческой и глубокое пониманье жизни, как мог этот гений лепетать детски беспомощные фразы этих якобы «политических» писем. Папа еще прибавлял, до чего ему тяжело не иметь возможности удовлетворить Льва Николаевича, но исполнение его просьб почти всегда должно было повести за собой неминуемое зло.

Бабушка, Наталья Михайловна Столыпина, рожденная княжна Горчакова, была известна своим умом и добротой. Она была второй женой дедушки, бывшего адъютантом у ее отца, наместника Польши, брата канцлера. Когда дедушка решил просить у князя Горчакова руки его дочери, произошел забавный инцидент. Он выбрал для этого время после своего доклада и, собрав бумаги, начал:

– Ваше сиятельство, теперь у меня еще есть…

Но Горчаков недовольно перебил его:

– Нет, я устал, довольно, завтра доложишь.

И бедный дедушка сконфуженно ретировался, в ожидании более удобного случая.

Когда мы были в Варшаве, папа меня свез в замок «Лазенки», где девицей жила его мать, и передавал мне на месте рассказы о великолепных праздниках, которые там давал ее отец; с иллюминациями на озере, театральными представлениями в парке и т. д. Рассказывал он мне тоже анекдот о том, как мой прадед за столом, во время большого обеда, сказал кому-то из гостей:

– Вот сколько времени мы живем в Польше, а мои дочери воспитаны в таком чисто русском духе, что ни одна из них по-польски даже не понимает.

– Что вы, папа, – раздается с конца стола голос моей бабушки, – мы все, как по-русски, говорим по-польски.

Насколько это была правда, свидетельствует другой

семейный анекдот.

Едет бабушка где-то поездом и во время пути знакомится с дамой, полькой, с которой всю дорогу и разговаривает по-польски. Подъезжая к месту назначения, дама любезно спрашивает бабушку: «Czy Szanowna Pani polka?» (Вы, конечно, полька?) На что та, со своей спокойной, умной улыбкой отвечает «Nie, jestem przsekleta moskalka» (Нет, я проклятая москалька).

Была знакома бабушка почти со всеми выдающимися людьми своего времени, ценившими и ум ее, и образованность. Однажды в каком-то заграничном курорте подходит к ней ее приятельница и говорит:

– Милая моя, я понимаю, что тебе приятно поговорить с умным человеком, но нельзя все же так мало вниманья уделять наружности. Как можно показываться с мужчиной, настолько плохо одетым и такого вида, как тот, с кем ты сегодня долго ходила по парку. Кто это?

– Да, друг мой, это ведь Гоголь, – ответила бабушка.

Лермонтов, бабушка которого была Столыпина, оставил по себе много воспоминаний в нашей семье. Родные его не любили за невыносимый характер. Особенно одна тетушка моего отца настолько его не терпела, что так до смерти и не согласилась с тем, что из-под пера этого «невыносимого мальчишки» могло выйти что-нибудь путное:

– И ни за что его писаний читать не стану, – говорила она.

Воспитывался Лермонтов в подмосковном имении своей бабушки Средниково, которое потом унаследовал мой дед, Аркадий Дмитриевич Столыпин. Не имея возможности поддерживать громадной усадьбы этого поместья, дедушка его продал, вывезя лишь некоторую часть мебели и библиотеку в Колноберже. После конфискации, уже литовским правительством, Колноберже, только потому что оно принадлежало моему отцу, библиотека эта была перевезена в имение моего мужа. Она была также конфискована литовцами, но после трехлетних переговоров была возвращена, к сожалению, в сильно разрозненном виде. Не хватало наиболее ценных книг. При возвращении моей матери остатков библиотеки была потребована расписка, что моя мать не будет никогда требовать от литовского правительства недостающих по каталогу книг.

Глава VII

Только в самые первые года после женитьбы папа его родители проводили лето тоже в Колноберже, так что этого времени я не помню, и первые мои воспоминания о нашей там жизни относятся к лету, когда перестраивали дом, и мы жили во флигеле.

Флигелем называлось большое, длинное, одноэтажное белое каменное здание, недалеко от господского дома, где помещались квартира управляющего, контора, квартиры приказчика и экономки, экономическая кухня, птичник, помещение кучера, конюшня и каретный сарай. Вот в квартире управляющего, состоящей из пяти комнат, мы и провели то первое лето в Колноберже, о котором я помню. Ежедневно я ходила с папа смотреть на работы в нашем доме, где пристраивали во втором этаже комнаты, делали новый каменный подъезд и производили другие улучшения.

А летом я весь день в беседке с Эммой Ивановной, она шьет, вяжет или штопает, я делаю пирожки из песка. Пирожки, особенно если песок полить, выходят очень красивыми и аппетитными, но никто их не ест, и мне становится скучно. Эмма Ивановна недовольно ворчит:

– Sprich doch kein Blodsinn, Matja (Не говори глупости, Матя.).

Мама нет, и я храбро направляюсь в кабинет папа просить помощи и совета. Папа берет меня на колени, внимательно и серьезно выслушивает и говорит, что он как раз очень голоден и придет ко мне за пирожками.

Через десять минут весь запас пирожков уничтожен: папа все съел: потыкал в песок сапогом, он и рассыпался – и я в восторге хлопаю в ладоши.

Так во мне с первых лет моей жизни твердо укоренилось убеждение в том, что папа поймет меня, и никогда он ни одним своим ответом на мои детские, а потом юношеские вопросы не поколебал во мне этой веры.

Всегда серьезно и вдумчиво выслушивал он меня, возражал, одобрял, пояснял, и я, гордясь, что он говорит со мной, как с большой, делилась с ним всеми своими переживаниями.

И, должно быть, все дети питали доверие к его силе и доброте. Однажды, когда у нас были в гостях наши соседи Кунаты, разыгралась страшная гроза. Маленькая моя подруга, Буба Кунат, ужасно ее боявшаяся, бросилась к моему отцу, просясь к нему на руки. Ее родители хотели ее взять, но она, дрожа всем телом, прижималась к папа и была спокойна лишь на

его руках, при каждом новом ударе грома пряча голову на его плече. Она все время что-то лепетала по-польски, папа отвечал ей по-русски, она ничего не понимала, но была, по-видимому, счастлива и спокойна, чувствуя себя охраненной этой большой ласковой силой.

Мой отец очень любил сельское хозяйство, и когда он бывал в Колноберже, весь уходил в заботы о посевах, покосах, посадках в лесу и работах в фруктовых садах.

Огромным удовольствием было для меня ходить с ним по полям, лугам и лесам или, когда я стала постарше, ездить с ним верхом. Такие прогулки происходили почти ежедневно, когда папа бывал в Колноберже. Иногда же ездили в экипаже, в котором мой отец любил сам объезжать лошадей.

Я, как старшая, гораздо больше других, еще маленьких сестер, бывала в те времена с папа, и особенно прогулки эти бывали всегда приятны и интересны: и весной по канавам, между озимыми и яровыми хлебами, еще низкими, нежно-зелеными и настолько похожими друг на друга, что я и понять не могла, как это папа мог их распознавать. И летом по разноцветному ковру душистых лугов; и осенью на уборку хлеба и молотьбу. Когда я была маленькой, у нас работала еще старая конная молотилка, и я с глубоким состраданьем подолгу смотрела на смирных лошадей с завязанными глазами, без конца ходивших по одному кругу.

А потом в мои любимые дни позднего лета, особенно прекрасные в Литве дни, залитые последними лучами солнца, пронизанные запахом первых упавших листьев и сладким ароматом яблок из фруктового сада, когда дышится как-то особенно легко, поразительно далеко все видно и когда в чистом, как хрусталь, воздухе, сказочно легко носятся паутины бабьего лета… – вдруг зашумела, загудела первая в наших краях паровая молотилка. Долго я не могла привыкнуть к нарушению осенней деревенской тишины, но потом даже полюбила это монотонное гудение, особенно если оно было слышно издали.

Ходила я с папа по полям и поздней осенью. Сыро, дорога грязная. Туман, или мелкий дождь, холодный и пронизывающий насквозь, застилают знакомый пейзаж. Ветер рвет платок, которым меня поверх пальто и шляпы заботливо закутала мама. Мой отец в своей непромокаемой шведской куртке, в высоких сапогах, веселый и бодрый, большими шагами ходит по мокрым скользким дорогам и тропинкам, наблюдая за пахотой, распоряжаясь, порицая или хваля управляющего, приказчика и рабочих. Подолгу мы иногда стояли под дождем, любуясь, как плуг мягко разрезает жирную, блестящую землю…

А что может быть уютнее и приятнее возвращения домой после такой прогулки! Каким теплом, согревающим и тело, и душу, охватывает тебя, лишь ты войдешь в светлую, теплую переднюю. Скорее раздеться, причесаться, вымыть руки и бежать в столовую, только бы не опоздать к обеду и не заслужить этим недовольного взгляда или, не дай бог, даже замечания от папа, не выносящего ни малейшей неточности во времени. Я думаю, что благодаря такой аккуратности, привычке быть всегда занятым и не терять ни минуты он потом и сумел так распределять свое время, что, будучи министром, успевал исполнять, никого не задерживая, свою исполинскую работу.

После обеда, в осенние месяцы, мы переходили в библиотеку, а папа и мама в кабинет. Дверь между обеими комнатами оставалась открытой. Как и в Ковне, папа сидел за письменным столом, мама на диване, и каждый занимался своим делом до чаю, а после него читали вместе.

И кабинет, и библиотека были очень уютны. Библиотека уставлена книжными шкафами красного дерева, перевезенными из Средникова, а кабинет – светлого дуба, с мебелью, обтянутой вышивкой работы матери моего отца. Над диваном, где сидела с работой мама, большие портреты масляной краской родителей папа в дубовых рамах, а на другой стене, в такой же раме, очень хорошей работы картина: старуха вдевает нитку в иглу. Каждая морщина внимательного лица говорила о напряженном старанье. Папа очень любил эту картину и говорил мне, что это работа молодого крайне талантливого, но, к сожалению, рано спившегося художника. Украшали еще кабинет подставки с коллекцией старинных, длинных, до полу, трубок и целый ряд экзотических и старинных седел.

Вечером уютно горели две лампы, одна на письменном столе папа, другая на рабочем столе мама.

Вообще все наши хорошие вещи находились в Колноберже, и когда папа был назначен губернатором и мама старалась украсить городской дом, то я протестовала изо всех сил против каждой попытки увезти что-нибудь из Колноберже в город.

Пока наши родители мирно читали и занимались после обеда в кабинете, у нас, детей, в библиотеке шло сплошное веселье. Кто-нибудь вертит ручку «аристона», этого почтенного прародителя современных граммофонов. Раздаются дребезжащие звуки «Цыганского барона», слышится топот ног, старающихся танцевать, «как большие», детей, падающих, хохочущих, а иногда и плачущих.

Нас уже пять сестер, под конец жизни в Ковне – в возрасте от полугода до 12 лет. Тут же две гувернантки, няня, а иногда

является полюбоваться на наше веселье и кормилица, важно выступающая в своем пестром сарафане с маленькой сестричкой на руках.

Она красива и очень самоуверенна: знает, что у моей матери, после детей, она первый человек в доме, что ей всегда припасается лучший кусок за обедом, что за ней следят и ходят, как за принцессой: лишь бы не огорчилась чем-нибудь, лишь бы не заболела! К ней подходишь с любопытством и страхом посмотреть на новорожденную, пухленькую, мягонькую, тепленькую в своих пеленочках.

Когда же маленькая плачет и не хочет заснуть, никто не справляется с ней так скоро, как папа.

Он бережными, нежными, хотя и по-мужски неловкими движениями, берет на руки кричащий и дрыгающий ножками и ручками пакетик, удобно устраивает его на своих сильных руках и начинает мерными, ровными шагами ходить взад и вперед по комнате. Крик понемногу переходит в тихое всхлипывание, а скоро уже и ничего не слышно, кроме еле уловимого, спокойного дыхания. И мама, и няня, и кормилица – все удивлялись, почему это ребенок ни у кого так скоро, как у папа, не успокаивается.

После игр и танцев, особенно бурных и веселых, когда у нас гостил дядя Александр Борисович Нейдгарт, старший брат мама, принимавший живейшее участие в нашей детской жизни, маленьких уводили спать, а я с работой садилась рядом с мама, и она, а иногда и папа, читали мне вслух до 9 часов. Так читали мы сначала Жюль Верна, а потом и наших классиков. На меня творенья наших писателей и поэтов производили глубокое впечатление при мастерском чтении мама. Читала она так хорошо, что то и дело папа поднимал голову от своей книги или бумаги и с вниманьем слушал. Читала мама и стихи, многие из которых папа очень любил. В сборнике стихотворений Алексея Толстого, принадлежащем моей матери, были помечены любимые стихи папа, и помню двойной чертой подчеркнутые им строки:

В одну любовь мы все сольемся скоро,
В одну любовь широкую, как море,
Что не вместят земные берега.

Восхищался он также Тургеневым, и его первым подарком своей невесте был альбом с иллюстрациями к «Запискам охотника».

По утрам, во время прогулок с папа, я делилась с ним впечатлениями о прочитанном.

Как мой отец ни любил и полеводство, и лес, и молочное

хозяйство, – больше всего его интересовали лошади.

Помню вороную пару Нана и Десна, которую Осип – кучер упорно называл «Весна», не подозревая, очевидно о существовании реки с этим названием. Помню золотисто-рыжую Искру и помню, конечно, лучше всех моего собственного Голубка.

Мечтой всего моего детства было ездить верхом, но я считала эту мечту несбыточной, так как много раз моя мать говорила, что этого мне не позволит никогда. Причиной этого было несчастье, случившееся с ее сестрой, тетей Анной Борисовной Сазоновой, тогда еще Нейдгарт.

Совсем молоденькой девочкой – это было до свадьбы мама – поехала она в деревне верхом. Не знаю точно, как это было, или она слишком долго не возвращалась и все беспокоились, или лошадь вернулась с пустым седлом, но случилось так, что нашли ее лежащей на дороге, без памяти. Оказалось, что она упала и ударилась головой о камень, следствием чего было сотрясение мозга и длившаяся бесконечно долго болезнь.

Папа, наоборот, когда я подрастала, стал склоняться к тому, чтобы разрешить мне ездить верхом.

Часто мой отец говорил со мной в те годы, какой он хотел бы видать меня взрослой.

Во-первых, не дай бог быть изнеженной – этого папа вообще не выносил; он говорил, что хочет, чтобы я ездила верхом, бегала на коньках, стреляла в цель, читала бы серьезные книги, не была бы типом барышни, валяющейся на кушетке с романом в руках.

И вот к моим именинам (мне было 15 лет) я, к своему удивленью, не получаю подарка за утренним кофе, как это всегда водилось, а ведут меня к подъезду дома. И тут – о, счастье! – моим восторженным взорам представляется оседланная дамским седлом лошадка, маленькая, серенькая с подстриженной гривой и хвостом, а на самом балконе лежит готовая амазонка.

Тут мне стало ясно, почему наша домашняя портниха Лина все брала с меня какие-то мерки и ничего не давала примерять и почему меня не пускали на задний двор конюшни. Лина шила амазонку, а кучер Осип выезжал Голубка, завязав себе вокруг талии простыню, чтобы лошадка не испугалась, когда юбка амазонки начнет хлопать ее по животу.

Она и не испугалась, когда я вскочила на нее, не испугалась и я, и даже с радостью услыхала за собой голос папа:

– Как Матя сразу хорошо сидит на лошади, ее стоит учить.

С этого дня я стала ездить верхом с папа. Сначала папа перед своей прогулкой объезжал со мной раза два вокруг дома, а потом стал брать с собой и в поля.

Одно время у нас на конюшне стояли всегда жеребцы –

рысаки, которых давали из казенных конских заводов помещикам для улучшения породы лошадей. Папа любил в маленькой тележке сам объезжать этих рысаков. Иногда брал и меня с собой. Один раз наша поездка чуть не кончилась несчастьем.

Надо сказать, что у моего отца была, вследствие несчастного случая, парализована правая рука. Он и писал очень оригинально, держа перо в правой руке, но водя его подложенной левой, при этом всегда писал гусиными перьями. Можно себе представить, до чего ему было трудно справляться с такими резвыми лошадьми, как эти рысаки.

Во время прогулки, о которой я говорю, мы свернули круто на дорогу, на которой солнце, после тени, как-то сразу ослепило лошадь: она испугалась, взвилась на дыбы – и тележка перевернулась. Папа, не растерявшись, столкнул меня в канаву и крикнул, чтобы я оттуда не выходила, а сам, не выпуская вожжей, стал удерживать метавшуюся лошадь. Ему помогли прибежавшие с поля рабочие, и все обошлось благополучно.

Не то было через год с другим рысаком, Павлином, красавцем вороным жеребцом, приводившим в восторг всех знатоков. Мама всегда очень волновалась, когда папа выезжал один, была она неспокойна и на этот раз.

Я смотрела в окно библиотеки, около которого брала урок, на отъезд моего отца. Вот кучер Осип, большой, сухой бритый, похожий на англичанина и поэтому так хорошо подходивший к нашим английским выездам, подает к подъезду дрожки, запряженные Павлином, слезает и ожидает папа, держа лошадь под уздцы.

Павлин рад предстоящей прогулке, он весело ржет, бьет землю копытом и огненным глазом косит в сторону дома: «Довольно, мол, постоял, пора и пробежаться». Черным атласом отливает его волос, и грива весело развевается по ветру. Вот вижу, как папа вышел из дому и сел в тележку, Осип подает ему вожжи, и Павлин сразу срывается с места – только успел папа кивнуть нам в окно головой.

Осип с гордостью оглядывается на своего питомца и медленным шагом возвращается в конюшню. Он обожает лошадей, особенно, конечно, своих колнобержских, и я часто с невинным видом начинаю хвалить ему чью-нибудь чужую лошадь, зная, что почти неизменно в ответ получу презрительно: «Без ног».

Когда я была маленькая, меня очень интересовало это выражение: как же без ног, когда их четыре?

Папа уехал. Я слышу, как он проехал мост около ледника, как пронеслась тележка, мимо «Наташиной аллеи»… Потом все

стихло и я покорно стала продолжать вслух спрягать осточертелые французские «Verbes irreguliers» (неправильные глаголы.).

Но вдруг, через минут 20, перед подъездом появляется папа пешком. С дрожащей нижней челюстью, он быстро, непривычными нервными шагами вбегает в дом и зовет мама. Слыша возбужденные и испуганные голоса родителей, моя гувернантка отпускает меня от урока, и тут я узнаю грустную весть: Павлин пал. Мой отец с трудом от волнения говорит, у моей матери слезы на глазах. Павлин, гордый, прекрасный Павлин, лежит бездыханный на кейданской дороге? Быть не может! Между тем это так. Какой-то ремень в упряжи слез, затянул его шею; мой отец не мог больной рукой освободить несчастную лошадь, и она, дернув, задушила сама себя и мгновенно упала замертво.

Тут первый раз я поняла, как близки нам могут быть животные, какое место они занимают в нашей жизни, как они нам нужны и дороги.

Глава VIII

Жило у нас во дни моего детства в Колноберже удивительное существо, уникум своего рода – бывшая крепостная Машуха. Была она толста неимоверно, крайне добродушна, но с придурью: многого не понимала и жила в каком-то своем миру, совсем отличном от мира окружающего, но отлично с ним рядом уживающимся.

До конца свой жизни, т. е. до 1897 года, она так и не поняла, что она уже не крепостная, что свободна, что может, если захочет, перейти от нас на другое место. На все наши уверения в том, что это так, и разъяснения она отвечала своим добродушным баском:

– Полно, полно, шутить изволите.

Но так же твердо она верила в то, что мои родители обязаны ее содержать, одевать, заботиться о ней, как о своем ребенке. Носила она всегда платья одного и того же покроя, похожие немного на сарафаны. Раза два в год моя мать производила смотр ее гардероба, пополняя необходимое; и всегда Машуха была богата своими незамысловатыми туалетами. Так и слышу разговор:

– Ну, Машуха, надо посмотреть твои вещи, не прикупить ли чего?

– Спасибо, спасибо Ольга Борисовна, вот уж как будете днем сидеть в беседке с детками, я свой сундук и принесу.

Сундучок ставили поотдаль, под кустиком. Мама сидела на скамейке, а Машуха одну за одной вынимала свои вещи и показывала, что хорошо, что изношено, чего много, чего не хватает.

На Машухе лежали обязанности, правда, очень несложные, но с большой добросовестностью ею исполняемые. Во-первых, она била масло: экономка ей наливала сливки в большую деревянную маслобойку, она садилась на крылечке флигеля и мерно колотила сливки. Вынимать масло она не имела права, а сдавала маслобойку экономке, чем ее работа и кончалась.

Во-вторых, когда папа не было в Колноберже, она всегда сопровождала мама во время прогулок, идя немного позади в стороне, а когда мы были в бане (ванны в моем детстве в Колноберже не было), она почему-то сидела в предбаннике.

Несмотря на долгие годы жизни своей в Колноберже, по-польски Машуха ни единого слова не выучилась и всегда, когда ее этим стыдили, отвечала:

– Не успела еще, не успела – выучусь как-нибудь, как время будет.

Была она вывезена из Средникова, подмосковного имения дедушки Аркадия Дмитриевича Столыпина, и помнила воспитывавшегося там Лермонтова. Она всегда уверяла, что наше скромное Колноберже красивее Средникова. Мама смеялась и говорила:

– Что ты, что ты, Машуха? Ведь там самый маленький флигелек больше колнобережского дома.

Как живая стоит передо мною милая Машуха с глуповато-ласковой улыбкой на толстом лице, с седыми, стриженными в скобу волосами. Всегда помню я ее веселой и довольной, и лишь в последний год ее жизни на лице ее появилось какое-то недоуменно-грустное выражение. У нее обнаружили рак на груди, и она, очевидно, очень страдала. Страдала она, как маленький ребенок или животное, с каким-то кротким удивлением прислушиваясь к разрушительной работе смерти в своем организме. Папа сам свез ее в Ковну, в больницу, где ей сделали операцию. После операции она стала как будто поправляться, вернулась в Колноберже и даже стремилась приняться за исполнение своих обязанностей, но дни ее были сочтены, и осенью мы ее похоронили в Кейданах.

Вернувшись из больницы, Машуха все сидела у своего окна во флигеле, я подходила к этому окну, и она мне рассказывала о том, как добр был папа, когда она лежала в Ковне:

– Ваш папенька, что родной отец для меня, – говорила она со слезами на глазах. – Лишь только в Ковну приедет, каждый день меня навещал и гостинцев приносил. Счастливая вы, Мария Петровна, что у вас такие родители.

Целый мир отошел с Машухой в вечность. Она была одной из последних представительниц того времени, когда господа и слуги составляли одну семью, делили радости и горести друг с другом и, чувствуя себя связанными на всю жизнь, волей-неволей приспосабливались один к другому и составляли одно сплоченное целое.

Заговорив о крепостном праве, я вспомнила о медали, полученной моим отцом за работу по освобождению крестьян. На мой вопрос, что это за медаль, папа сказал мне:

– Это награда, которой я больше всего горжусь: я так счастлив, что мне удалось принять участье в одной из последних комиссий, работавших над раскрепощением крестьян, и этим внести свою лепту в одно из величайших и благодетельнейших дел нашей истории.

Глава IX

Какой полной, какой счастливой жизнью мы жили в Колноберже!

Хотя о крепостных и помину давно не было, и одна Машуха живым памятником напоминала собой об этих канувших в вечность временах, все же все наши люди – и рабочие, и домашняя прислуга, жили у нас так подолгу, что тоже составляли с нами нечто одно целое.

Когда я была ребенком, и управляющий Оттон Германович Штраухман, и кучер Осип, лакей Казимир, и пастух Матутайтис, и птичница Евка представлялись мне такими же неотъемлемыми от нашей жизни и необходимыми существами, как и родные. Чуть не забыла повара Ефима, служившего у нас долгие годы и особенно славившегося своими куличами, так и называвшимися «ефимовскими».

Когда мой отец был уездным предводителем, он осенью уезжал на призыв новобранцев по своему уезду. Папа говорил, что это самая неприятная из его обязанностей. Жить приходилось в «местечках». После работы не было ни где посидеть, ни где заняться, так что это было единственным временем, когда мой отец играл в винт.

Ефима он брал на эти шесть недель с собой, а дома его на это время заменял другой повар. Ефим очень любил эти поездки, вносившие приятное разнообразие в его службу.

С призывом связано у меня одно тяжелое воспоминание. В один из этих годов, когда мой отец не так давно еще уехал и мы не скоро ждали его назад, мы все мирно сидели вечером в библиотеке и слушали какую-то интересную книгу, которую нам вслух читала наша гувернантка.

Вдруг раздается лай Османа, нашего верного сторожа, и к крыльцу подъезжает экипаж. Казимир выбегает открыть двери, и каково же наше удивление, когда мы, высыпавшие гурьбой в переднюю, видим, что вернулся папа. Но какой он странный. Воротник шинели поднят, как в лютый мороз, а его лицо такое же красное, как околыш дворянской фуражки, надеваемой специально для таких деловых поездок. Папа говорит с трудом, и мы с ужасом слышим, что у него сильный жар, что он болен.

Начались тяжелые, томительные недели… Тут же ночью приехал наш кейданский доктор, давнишний друг нашего дома, Иван Иванович Евтуховский. Выслушав папа, он не сказал свое всегдашнее, так утешительно звучащее: «Ничего-с, ничего-с опасности нет-с», а определенно заявил, что это воспаление

легких.

Помню, как я, притаившись за дверью, слушала, как он ставил папа банки. Иван Иванович ужасно волновался и обжигал папа немилосердно, папа громко стонал, а Иван Иванович нервно повторял: «Я терплю-с, я терплю-с». Это восклицание со стороны доктора было так комично, что, несмотря на волнение, я не могла не рассмеяться.

Болезнь была очень тяжела. Очевидно, папа не обратил внимания на начинающуюся простуду и продолжал сидеть на сквозняках во время осмотра новобранцев. Дело обстояло даже настолько серьезно, что на подмогу Ивану Ивановичу приехал из Москвы домашний доктор дедушки Аркадия Дмитриевича Эрбштейн. Он знал папа с детства и искренно его любил, а я смотрела на него как на своего рода дядюшку и любила слушать его рассказы о детстве папа. Дедушка всегда его поддразнивал:

– Avouez, docteur, que vous etes Juif – votre nom de famille le prouve (Сознайтесь, доктор, что вы еврей).

– Non, – отвечал Эрбштейн, – je ne le suis pas, mais… je soupconne mon gran'pere (Нет, я не еврей, но… я подозреваю моего деда).

Эрбштейн, выслушавший моего отца, согласился с Иваном Ивановичем в серьезности положения и остался у нас на несколько дней. Иван Иванович также часто ночевал у нас в Колноберже. Камердинер папа Илья (Казимир был в это время буфетчиком) спал в уборной мама на матрасе перед дверью в спальню. Мы на цыпочках, еле дыша, проходили через столовую, лежащую по другую сторону спальни, и все с трепетом и молитвами ждали девятого дня.

Наконец наступил этот памятный для меня день. Я знала, что эти сутки должны быть решающими, и с неописуемым волнением ждала утром мою мать. Она вошла в гостиную усталая, бледная, но сияющая улыбкой счастья и сказала: «Кризис прошел, опасность миновала» – и разрыдалась. Явился наш верный Оттон Германович и, услышав радостную весть, тоже расплакался, а Илья весь день ходил именинником, будто он вылечил папа, и всем рассказывал, что он сам слышал, – как Петр Аркадьевич несколько раз в бреду звал его, Илью и что-то о нем говорил. Вот, мол, как Петр Аркадьевич обо мне заботится!

Глава X

Рядом с грустными воспоминаниями (а таковых было так мало в ту счастливую пору), всплывают воспоминания о веселых, радостных днях. К таковым принадлежал день ежегоднего пикника в Игнацегроды.

Игнацегроды – имение сестры моего отца, Марии Аркадьевны Офросимовой, лежало недалеко от Колнoберже, по ту сторону реки Невяжи, орошающей наши луга. Ни сама тетя Маша и никто из ее семьи никогда в Игнацегродах не бывал, и долгие годы сдавалось оно в аренду, а мой отец ежегодно туда отправлялся проверять, все ли у арендатора в порядке. Так как через Невяжу в Колнoберже не было ни моста, ни парома, то приходилось ехать кругом через мельницу, тоже принадлежавшую Офросимовым.

Папа брал меня всегда с собой, и этот день проходил исключительно весело. Потом, по мере того как подрастали сестры, их тоже стали брать с собой. Сначала обеих старших, Наташу и Елену, потом и двух младших, Олёчка и Ару. Они так и росли, воспитывались и учились парами. Между каждой из двух сестер одной пары было по году разницы. Я же была на шесть лет старше старшей из «маленьких» – Наташи и относилась к «детям» с чувством неизмеримого превосходства. Наш же единственный брат на восемнадцать лет моложе меня. Он родился, когда папа был уже губернатором.

Но вернемся к поездке в Игнацегроды. Выезжали довольно рано, часов в девять утра. И с той минуты, как Казимир приносил из кухни всякие «вкусности», приготовленные Ефимом, и бережно устанавливал наполненную ими корзину в экипаж, делалось весело и как-то особенно легко. Впрочем, мой отец излучал из себя такую бодрость и энергию, что все, что делалось с ним сообща, было проникнуто духом ясности и бодрости.

Ездил папа в Игнацегроды обыкновенно в «курлянке» или «нытычанке» – двух экипажах, не боящихся дорог, как бы плохи они ни были. Ехать надо было через длинную деревню Колнoберже, начинающуюся около нашей кузницы и доходящую почти до усадьбы нашего соседа Кудревича. Как и во всех литовских деревнях, в ней перед каждым домом садик.

Литовцы очень любят цветы, и садики эти, особенно к осени, когда в них пышно цветут георгины, мальвы и штокрозы, – очень хороши. На каждом доме дощечка с изображением того орудия, с которым хозяин этого дома обязан явиться в случае пожара на то место, где горит. У кого лом, у кого лопата, у многих ведро и т. д. Я очень любила ходить гулять в деревню летом, вечером, когда

возвращается скот с пастбища. Входит в деревню огромное стадо коров и овец, сзади один или два пастуха. Стадо прогоняют через всю деревню, которая тянется более, чем на две версты, а коровы и овцы сами сворачивают у ворот своих хозяев, каждая в свой хлев. Стадо тает, тает, и к концу остается одна последняя коровка.

Доехав до мельницы, останавливались и выходили из экипажей. Осмотр мельницы моим отцом, переправа на пароме, причем лошади распрягались, потом кусок дороги по мягкой траве лугов и, наконец, въезд в живописную, запущенную усадьбу – как все это врезалось в мою память.

Господского дома в Игнацегродах не было, и на лужайке, где он, должно быть, когда-то стоял, находилась хата, в которой жил арендатор Харнес.

Папа сразу начинал с ним длинный хозяйственный разговор, а я бежала в парк. Дорожек, конечно, давно не было, все заросло, но сам парк был расположен настолько красиво, что сохранил свою прелесть. Он спускался тремя искусственными террасами к Невяже: на каждой из террас по пруду, а внизу среди зелени лугов узкая, но глубокая серебряная Невяжа. На верхней террасе, против дома арендатора, запрятанный в кустах сирени очаровательный каменный павильон, так называемая библиотека. В этой «библиотеке» мы и завтракали.

К концу завтрака жена Харнеса неизменно являлась с графинчиком домашней наливки собственного изготовления. Графинчик стоял на стеклянном подносе, а кругом него стояли рюмочки – все это голубого цвета, и все это она с глубоким реверансом ставила перед папа на стол.

Наливки у нас дома, конечно, делались, и летом большие четвертные бутылки с вишнями, залитыми спиртом, украшали собой окна колнобержского дома, но подавалась эта наливка только в торжественные дни рождений и именин, почему и стояли в кладовых неимоверные запасы ее. Водку мой отец тоже пил, только когда был к обеду кто-нибудь из соседей, что случалось раза четыре за лето, кроме семейных торжеств. И вспомнить забавно, как графин с водкой запирался осенью в буфетный шкаф, а весной, когда мы приезжали из Ковны, стоял там наполовину полный, готовый к встрече гостей наступающего лета.

Наливка арендатора в Игнацегроде казалась мне необычайно вкусной. Папа позволял мне тоже выпить полрюмки, она обжигала мне рот, и я была в восторге.

Завтрак проходил очень оживленно, и я помню, раз за одним из них случилось следующее.

Моя маленькая сестра, Олёчек, впоследствии убитая большевиками, приводила в отчаяние и мама, и нашу добрейшую м-ль Сандо тем, что никак не могла выучиться говорить по-французски. Мы, три старшие, говорили совсем свободно, даже самая меньшая, Ара, и та лепетала что-то похожее на французский, а Олёчек не могла сказать на этом языке ни одного слова. Было ей тогда лет пять, или меньше даже. И вот вдруг во время завтрака в игнацегродской библиотеке, когда все расшалились, развеселились, хохотали, кто-то из нас говорит:

– Послушайте, Олёчек говорит по-французски!

И действительно, Олёчек много и совершенно гладко говорила по-французски… Папа ее поцеловал, а она важно заявила:

– Это я нарочно все слушала, слушала и молчала, чтобы потом всех удивить.

После завтрака папа приказывал подать лошадей, и мы ехали через леса, в фольварк Эйгули, принадлежащий тоже тете Офросимовой, а оттуда на пароме домой.

Эйгули от Игнацегрод находились довольно далеко, и ехать приходилось верст семь. При въезде в лес кончалось царство арендатора Харнеса и его сменял лесник Павилайтис, который верхом сопровождал наш экипаж, давая объяснения, и отвечая на вопросы моего отца. Павилайтис ужасно любил показывать по плану, куда нам ехать и где мы в данное время находимся. План лежал открытым на коленях у папа, и Повилайтис, ехавший рядом с экипажем верхом, склоняясь над планом в своей фуражке с зеленым околышем, с лошади, водил с воодушевлением по плану тоненькой хворостинкой. Папа говорил в мою сторону:

– Il faut lui faire plaisir (Надо ему доставить удовольствие) и потом, обращаясь к нему: – Ну, Повилайтис, покажи-ка, я что-то не понял, в каком месте, ты говоришь, лес прочистить надо?

Лицо Повилайтиса расплывалось в широкую улыбку, и он с нескрываемой радостью тыкал по плану своей указкой, очевидно, гордясь пониманием плана.

Поездка в Игнацегроды была настоящим пикником, с которого возвращались мы, утомленные и веселые, только часам к пяти-шести. Маленькие же поездки предпринимались часто: в лес за грибами, или ягодами, или на луга. Мы – дети, гувернантки и няни ехали на линейке лошадьми, а папа и мама приходили пешком попозже в то место, где мы, разведя костер, пекли картофель.

«Линейка» эта была сделана домашним столяром, и Осип с гордостью говорил, что она «особая» и что такой «на всем свете не сыскать».

Была она рассчитана на четырнадцать человек, сидящих спина к спине, а сзади был приделан ящик для провизии и калош на случай дождя. Запрягалась в них четверка, цугом, маленьких, сильных жмудских лошадок мышиного цвета, называвшихся «мышаками».

Очень было весело ехать в нашей линейке с пением по полям и лесам в теплый летний день, и очень мы это любили.

Часто ходили мы и пешком с нашими родителями в места более близкие, на наши фольварки (в западном крае так называют хутор.). Было их два: Петровка и Ольгино. Назвали их так в честь папа и мама. Я особенно любила, когда прогулка в Петровку совершалась в субботу.

Этот фольварк находился в аренде у еврея Калмана. Когда мы туда приходили, он и его жена выносили нам стулья в сад для отдыха, а уходя мой отец давал Калманам на чай.

Но в субботу Калман говорил, что не имеет права брать денег в шабаш, и просил положить монеты куда-нибудь в указанное им место – под дерево или на тот же его стул, с тем, что он, когда с появлением первой звезды шабаш кончится, возьмет ее. Когда мы уходили, я нарочно отставала и, спрятавшись за кустом, с любопытством наблюдала всегда одну и ту же картину: Калман, озираясь, выходит из дому, берет деньги и быстро уходит. Вся эта процедура забавляла меня, как забавляло в Ковне встречать едущих по улице евреев с ящиком с землею под ногами. Это означало, что едущий не преступает закона, запрещающего правоверному еврею путешествовать в шабаш: он же стоит на земле, на которой находился к началу праздника, и нет ему дела до того, что его везут паровоз или лошадь, – он сам-то не двинулся с места!

К евреям я, живя в Ковне и в Ковенской губернии с рождения, конечно, привыкла и всегда любила их, как необходимую принадлежность родного края.

Особенно евреев, с которыми вечно приходилось встречаться, видя их постоянно в магазинах или исполняющими работы по ремонту в деревне: они и кровельщики и маляры, они и пахтыри и покупщики зерна. Одним словом, они необходимы, не только необходимы, но и весьма удобны и приятны, как всегда говорил мой отец. Устроить, например, в Колноберже большой обед. К кому обратиться, как не в колоньяльный магазин Шапиро в Кейданах, у которого есть «все», а если чего и нет, то он с первым же поездом готов ехать за требуемым в Вильно или хоть в Берлин. Кажется, к таким дорогим способам доставания провизии мои родители, жившие всегда очень скромно, никогда не прибегали, но что Шапиро это предлагал – сама слыхала.

Глава XI

К очень веселым дням в Колноберже относились дни наших именин, почти все приходящиеся на летние месяцы.

Самым торжественным образом, конечно, справлялось 29 июня, день ангела моего отца, и 11 июля – именины мама.

Накануне праздничных дней, вечером, приходили рабочие поздравлять с наступающим праздником: на именины папа – мужчины, на именины мама – женщины, а на мои – девушки. Младших сестер поздравлять не полагалось.

Издалека, в теплом, душистом, летнем воздухе слышится пение; довольно нестройное и заунывное, как все литовские песни, издалека оно кажется поэтичным и нежным.

Заслыша пение, мы выходим на балкон. Пение все громче и ближе, и наконец из темноты выходят, освещенные теперь светом наших окон, фигуры рабочих. Тот из нас, кому приносится поздравление, выслушивает пожелания и дает на чай, и поздравители с пением уходят.

В честь папа стараются петь русские песни. Бывший солдат Казюк лихо запевает:

Три деревни, два села,
Восемь девок, один я,
Куда де-е-евки, туда я!

А хор весело подхватывает:

Девки в лес, я за ними,
Девки сели, и я с ними…

А когда папа сходит со ступеньки подъезда, тот же Казюк выходит из толпы и ясно и четко, держа руки по швам, декламирует всегда одно и то же стихотворение Кольцова, видно единственное, запомнившееся ему со школьной скамьи.

На следующий день с утра все в доме и усадьбе другое, чем всегда. Торжественно и необычно. Мы, дети, даем наши подарки к утреннему кофе. Мама-то легко сделать подарок, а вот подарок для папа всегда огромное затруднение, и наша творческая фантазия не идет дальше вышитых или разрисованных закладок в книгу. Когда у папа собралось около дюжины таких закладок, мы стали дарить рисунки. Папа их трогательно берег, и они

впоследствии, вставленные в рамки работы домашнего столяра, украшали стены комнат папа в Колнобержe.

Сам папа в юности, пока была здорова его рука, рисовал; очень любил живопись и поощрял мое стремление совершенствоваться в этом направлении.

Позже, когда сестры подросли, стали мы ставить в виде подарка и сюрприза, домашние спектакли. Текст писала моя сестра Наташа, с детства обладавшая литературным талантом. И родители и гости хвалили эти представления, но мы довольны не были и все думали, что вот бедный папа обижен, получая только «Des cadeaux en l'air» (Воздушные подарки), как говорила Наташа. Папа смеялся и советовал шутя: «Вот что, вышейте мне галстук с большой красивой розой или шерстяные ночные туфли с незабудками крестиком». Я понимала шутку, но маленькие очень настойчиво просили гувернанток помочь им изготовить подобное великолепие.

На именины никто никогда не приглашался – соседи сами приезжали поздравлять: к папа одни мужчины, к мама целыми семьями.

Но на Петров день все же было больше народу, чем на Ольгин, так как поздравить своего «пана маршалка» (предводитель дворянства по-польски) приезжали дворяне из очень отдаленных имений. Съезжалось в этот день не меньше тридцати человек, некоторые из них жили за 50–60 верст. На Ольгин день приезжали лишь близкие соседи.

Готовились к этим дням заранее. Леснику было приказано принести ягод, орехов, дичи; экономка с гордостью приносила на кухню откормленных к этому дню птиц, но больше всех старался садовник Яша.

Задолго до именин приходил он по вечерам к мама докладывать о проектах всяких улучшений и нововведений, задуманных им, как он выражался, «кодню».

А в самый «день» как кипела у него работа и в саду, и в оранжереях, и на балконах! Сам Яша, его постоянные помощники и помощницы и нанятые по этому случаю поденные работали не покладая рук: чистили дорожки, приводили в порядок ковровые клумбы, ставили новые букеты в вазы и, главное, украшали цветами доску, клавшуюся посредине обеденного стола, в центре которой стояла высокая корзина с самыми красивыми цветами.

К шести часам вечера все было готово, и начинался съезд гостей. В семь часов обедали, а потом сидели на балконе, гуляли, а иногда и танцевали.

Конечно, никто из детей на мужском обеде не присутствовал, на именинах же мама, большие дети и гувернантки обедали за

«взрослым» столом.

Во время обеда перед окнами столовой, в хорошую погоду, или в передней, в дождь, играл еврейский оркестр, тоже являвшийся на именины без приглашения. Папа любил заказывать музыкантам еврейский танец «майюфес», который они с особенным удовольствием и задором исполняли. Если организовывались танцы, то танцевали, конечно, все, и стар и млад, как в деревне полагается. Даже моя старенькая Эмма Ивановна делала тур вальса, после чего, довольно улыбаясь, говорила:

– Das bleibt immer in den Gliedern (Это всегда остается в членах).

Самое чудное, конечно, было для меня, когда пригласит папа. Он такой большой, что все время летишь по воздуху, лишь изредка касаясь ногами земли.

Раз как-то был у нас большой обед. По какому случаю не помню, но не в день именин, и я должна была обедать с маленькими, что мне в мои четырнадцать-пятнадцать лет казалось очень обидным. Мне вовсе не было веселее обедать со взрослыми, откровенно говоря, в детской было даже гораздо веселее, но быть поставленной наравне с восьмилетней Наташей казалось настолько оскорбительным, что я молилась:

– Господи, сделай чудо, сделай так, чтобы я сидела за большим столом!

Мне это казалось ужасно важным, и молилась я искренно. И чудо совершилось. Почти перед самым обедом, когда, казалось, была потеряна всякая надежда, вдруг в мою комнату входит папа и говорит:

– Матя, скорей надевай свое самое нарядное платье, ты будешь обедать с нами. Из Тотлебенов одна не приехала, и для тебя есть место.

Несмотря на то, что я весь обед промолчала, это был один из счастливейших дней моей жизни.

Глава XII

Соседей у нас было в Колноберже довольно много. Были мои родители знакомы с помещиками очень отдаленных имений, как те, о которых я упоминала в описании дня именин моего отца, так и, конечно, с близкими.

Самыми близкими были Кунаты. Наши имения разделяла только река Невяжа, но ездить мы могли к ним только вкруговую или когда они присылали за нами лодку.

Имение у Кунатов было небольшое, и жили они скромно, но сам Кунат, человек энергичный и деятельный, устроил у себя в имении ряд мелких промышленных предприятий. Изготовлялись у него соломенные шляпы, одеяла и пледы. Последние выходили особенно удачно. Завод работал долгие годы, и уже во время войны Кунат выставлял свои изделия на какой-то выставке в Петербурге. Выставку эту посетил государь, и Кунат преподнес ему один из пледов своего производства, а потом рассказывал нам, как государь, взяв подарок из его рук, сказал:

– Благодарю вас, у меня как раз не было хорошего пледа.

Когда же государь уезжал с выставки, Кунат, бросившийся к окну, увидел, как император покрыл себе колени его пледом.

Эти предприятия в Шатейнах с самого своего возникновения очень интересовали моего отца. Во время каждого своего посещения он ходил их осматривать, а позже, будучи министром, способствовал их расширению и процветанию.

Ездили мы тоже к Кудревичам и к Комаровским. Эти усадьбы были видны из Колноберже.

Были тоже нашими соседями владельцы имения Датново, переходившего из рук в руки, пока оно не было куплено по желанию моего отца казной для устройства в нем сельскохозяйственной школы. Осуществить эту идею удалось лишь впоследствии предводителю дворянства Ковенской губернии, князю Васильчикову, много над этим делом потрудившемуся и неоднократно говорившему мне, как ему приятно было провести в жизнь этот проект моего отца.

В данное время (воспоминания М. П. Бок писались до Второй мировой войны – *ред.*) в Датнове сельскохозяйственная академия; таким образом, идея моего отца разрослась и принесла богатые плоды.

Когда же я была еще ребенком, это имение принадлежало графу Крейцу. Граф умер, когда мне было лет шесть, а у графини я часто бывала с моими родителями. Хорошо помню, как она к нам приезжала в желтом экипаже-корзинке. С семьей Крейцев

были еще дружны дедушка и бабушка. Иногда в Датнове гостила дочь графини Крейц, Бутурлина, и ее сын, Вася, был товарищем моих игр и в Датнове, и в Колноберже. Кто мог подумать, когда мы так весело бегали по датновском парку, что краснощекий, толстый шалун Вася, так больно дергавший меня за косу, через несколько лет погибнет, отравленный из-за каких-то наследственных недоразумений со своим зятем О Бриен де Ласси!

Когда же Васи в Датнове не было, я играла с собачкой Бианкой, бегала она почему-то только на трех лапах, но отлично понимала все игры и не командовала мною, как Вася.

Как сейчас вижу картину: сидят папа и мама на балконе второго этажа со старой толстой графиней, а я бегаю под балконом среди знаменитых датновских роз. Папа встает и, приставивши две руки ко рту, кричит:

– Матя, графиня говорит, чтобы ты пошла в оранжерею и велела садовнику принести персиков, абрикосов и винограду.

– Да сама поешь их побольше, – прибавляет графиня Крейц, приветливо улыбаясь.

Сидит она в глубоком кресле около большого стола, на котором, между книгами и журналами, стоит стакан с какой-то жидкостью, кажется, пивом. Только лишь муха сядет на стакан, как графиня, зорко за нею следящая, накроет стакан деревянным кружком с ручкой, нарочно для этой цели изготовленным домашним столяром. Дом в Датнове был большой, великолепно обставленный старинной мебелью. Одна стена спускалась к реке, и с террасы дома прямо садились в лодку.

Папа говорил, что это оригинально, красиво, но, что из-за этого очень сыро в доме.

Когда мне было лет десять, графиня Крейц умерла, и похоронили ее в датновском парке рядом с ее мужем. При ее жизни, обязательно при каждом посещении, гости ходили на эту могилу, всегда украшенную чудными цветами. А когда и графиня легла на ранее ею самой приготовленное место, перестали заботиться о могиле, и так грустно было всегда видеть заросшие травой холмики.

Глава XIII

В имении Кейданы, рядом с большим местечком того же названия, жила многочисленная семья графа Тотлебена.

Туда я часто ездила с моими родителями и без них. Там всегда было многолюдно, шумно и очень весело.

Самого героя Севастополя, графа Тотлебена, я не помню. Ходили рассказы о том, что он уверял, будто не может распознать своих восьми дочерей, когда видит их порознь, и только когда они являлись вместе, то узнает, которая Матильда, которая Ольга.

Единственный сын графа, в то время молодой холостой офицер, приезжал со своими товарищами осенью в двадцативосьмидневный отпуск на охоту. Мой отец, как, кажется, все Столыпины, охоты не любил, и в этом удовольствии мы участия не принимали.

Графиня Тотлебен с незамужними дочерьми приезжала из Петербурга весной и оставалась до осени. Приезжали также на лето замужние дочери с детьми, их друзья и подруги, и кейданский дом в сто комнат кипел все лето молодой веселой жизнью.

За домом тянулся огромный парк, в отдаленной части которого возвышался минарет. Когда граф Тотлебен построил замок и разбил парк, кто-то из его знакомых сказал ему, что все это очень красиво, но недостает здесь памятника, увековечивающего героя Севастополя, и что следует что-нибудь придумать, напоминающее Крым. Идея эта понравилась графу, и он провел ее в жизнь, построив в кейданском парке настоящий минарет. Рядом с минаретом, в маленьком домике, было собрано все, касающееся покойного графа: его ордена, письма, мундиры и называлось это музеем.

Когда какой-нибудь полк проходил через Кейданы, направляясь на маневры, что бывало ежегодно, графиня, в память мужа, приглашала офицеров ночевать в доме и устраивала в их честь обед и танцы. Эти приемы были всегда особенно веселы, и один из них ярко запечатлелся в моей памяти.

Было мне лет восемь, и я с другими детьми смотрела из одного из углов, залы, куда мы забились, на танцы взрослых, как вдруг ко мне подошел один офицер и с официальным лицом, как взрослую, пригласил на вальс. Я храбро пошла за ним, но, вышедши на середину зала, заметила, как все с улыбками смотрят на меня, расплакалась и бросилась бы в постыдное бегство, если бы мой отец в критический момент не очутился бы

около меня, не обнял бы моей талии и, подняв меня высоко на воздух, не протанцевал со мною мой первый тур вальса.

Папа рассказывал, как мальчиком он с братьями ездил верхом в Кейданы и даже ходил туда пешком, хотя расстояние между обоими имениями было восемь верст.

Эти восемь верст мы проезжали всегда в довольно долгий срок, так как часть дороги составляли «пески»: в Бабянском лесу песчаная почва. Несколько раз, когда мой отец был предводителем, подымался вопрос об устройстве на этих песках шоссе, но всегда папа говорил, что по его почину это сделано не будет, как не будет он ходатайствовать, несмотря на постоянные просьбы жителей, чтобы Кейданы были сделаны уездным городом, так как то и другое слишком выгодно для него, как помещика столь близко лежащего имения, и возбуждало бы лишь нежелательные толки.

Глава XIV

Очень дружны были мы также с милой семьей генерала Кардашевского, две дочери-близнецы которого были моими лучшими подругами.

Бывал у нас и Петр Александрович Миллер, прекрасный хозяин, познания которого папа очень ценил и часто совещался с ним по делам имения. Как-то Миллер послал папа в подарок двух поросят, чистокровных йоркширов, толстых, бело-розовых, аппетитных. В письме, переданном посланным, было сказано, что поросят этих необходимо ежедневно купать. Мой отец сам стал следить за исполнением этого предписания, к которому крайне презрительно отнеслись и управляющий и экономка. Но, по-видимому, сами поросята находили эту операцию совершенно излишней, подымая во время ее такой концерт, что, помню, даже один раз Павел Юльянович, дьячок кейданской церкви, дававший мне уроки, прекратил занятия, прислушиваясь к этому душераздирающему визгу. Вскоре поросята настояли на своем, и моему отцу, всегда доводящему дело до конца, пришлось уступить и дать им расти, как обыкновенным свиньям, предпочитающим купаться лишь в грязи.

Вторым знаменитым хозяином нашей местности был Владислав Телесфорович Дуллевич – поляк, имение которого было в пятидесяти верстах. К нему мой отец относился с большим уважением и любовью. С ним и с Миллером, когда они у нас бывали, папа обходил поля, лес, посадки в фруктовых садах, показывая им свои работы и советуясь о дальнейших улучшениях. Обход хозяйства всегда кончался конюшней, из которой Осип и конюхи Игнашка и Казька выводили лошадей, гоняли их на корде или водили под уздцы.

Кроме этих друзей-соседей, русских и поляков, частым гостем бывал у нас настоятель кейданской церкви отец Антоний Лихачевский. Бывали доктор, Иван Иванович Евтуховский, следователь и мировой посредник. Оба последние, конечно, менялись от времени до времени. Но отец Антоний и Иван Иванович составляли одно неразрывное целое с Кейданами.

Отец Антоний состоял священником кейданской церкви более пятидесяти лет. Из года в год, когда мы переезжали из Ковны в Колноберже и весь дом был приведен в порядок, приезжал отец Антоний отслужить молебен и окропить комнаты святой водой. Как любила я эти богослужения в милой Колнобержской столовой, когда в открытые окна вливается воздух, напоенный запахом сирени, когда такой с рождения

знакомый голос батюшки произносит святые слова молитв, когда так легко, чисто и радостно на душе.

Потом батюшка обходит весь дом, и стараешься, идя за ним, как можно чаще попасться под брызги святой воды, когда он кропит комнаты. А Эмма Ивановна не любит этого и обижается, что в ее комнате брызгают на ее вещи. Так и не привыкла она за шестьдесят лет жизни в России к русским обычаям.

Папа знал и любил отца Антония с детства и всегда, до конца своей жизни, заходил к нему в Кейданах после обедни навестить его в уютном домике около церкви. Скончался отец Антоний только в 1928 году, и кончина его была очень трогательная.

Отслужив в своей родной кейданской церкви последнюю обедню, отец Антоний был уже так слаб, что, выйдя с крестом на амвон, пошатнулся. Видя, что он не в силах держать крест, к нему подошли сыновья Н. Н. Покровского (последнего министра иностранных дел), его прихожане и друзья и поддерживали его под руки, пока подходил к кресту народ. Когда донесли его после этого до дома, он сказал:

– Ну, теперь я хочу отдохнуть, я очень устал. Или, быть может, это вечный покой? – И через несколько минут его не стало.

Отец Антоний был, особенно для сельского священника, очень развит, начитан и умен. Интересовался всем, говорил обо всем, и мои родители очень любили его посещения. Нельзя было себе представить семейное торжество без отца Антония.

Когда после пяти дочерей родился у моих родителей первый сын, радость наша была огромная. Как нас, девочек, ни любили родители, их большим желанием, конечно, было иметь сына. Мечта эта осуществилась лишь на двадцатый год их семейной жизни. До моего брата родился сын моего дяди Александра Аркадьевича Столыпина. С грустью послали тогда мои родители образ, переходящий в роде Столыпиных первенцу нового поколения, моему двоюродному брату. Зато, когда им Бог послал сына, были они счастливы и горды необычайно. Отец Антоний разделял их счастье и горячо их поздравлял. Поздравлял он их также с моим рождением и очень обижал мама тем, что с рождением остальных четырех сестер поздравлять не находил нужным, считая, что от женщин мало толку на свете.

Противоположного мнения держался дедушка Аркадий Дмитриевич Столыпин: он так любил женщин, что при рождении каждой девочки говорил:

– Слава богу, одной женщиной на свете стало больше.

Бывали у нас в Колноберже не только соседи, но и некоторые ковенские знакомые, приезжавшие, конечно, на несколько дней

или даже недель.

Самым частым гостем была у нас Зетинька, родителями, гувернантками, детьми и прислугой одинаково любимая. Была она старой девой, дочерью старичка, ковенского мирового судьи, Венедикта Александровича Бунакова. Было у них и имение в Ковенской губернии.

Помню я Елизавету Бенедиктовну, прозванную нами, детьми, «Зетинькой», когда я была еще совсем маленькой и живы были ее родители. Жили они тогда в Ковне, в маленьком, низеньком домике, с крылечком и садиком, домике, на окнах которого красовалась герань вперемежку с бутылками всяких настоек и в котором вас уже в передней ласково и приветливо встречали хозяева.

Раз мы зашли туда, гуляя вдвоем с моим отцом. Венедикт Александрович с пушистой белой бородкой, сухонькая, маленькая его жена, Анна Ивановна, в черной наколке и сама Зетинька, как всегда, радостно встретили нас и провели в большую низкую гостиную с чинно стоящей по стенам мебелью, покрытой белыми чехлами. «Какая там под чехлами обивка и когда чехлы снимаются?» – мучительно думала я, стараясь прямо и с серьезным лицом сидеть на диване рядом с Анной Ивановной. Тут не было ни детей, ни собак, почему я и сидела с взрослыми, стараясь своим поведением доказать, что я достойна этой чести.

Но недолго пришлось мне углубляться в решение вопроса о чехлах: через очень короткое время вернулась Зетинька, сразу после нашего прихода куда-то исчезнувшая, и позвала нас в столовую, где на накрытом столе стоял чай и всякие варенья и печенья.

Папа хозяйка налила чай в чашку, изображающую самовар, из позолоченного фарфора и подала ее со словами:

– Вы у нас такой почетный гость, что меньше целого самовара предложить вам не могу.

В то время Елизавета Бенедиктовна бывала у нас сравнительно редко: ее родители приходили «с визитом», а она вечером посидеть с мама в кабинете папа, а иногда и днем поиграть с нами. Но когда умерли ее родители, она стала бывать у нас очень часто, а летом гостила в Колноберже неделями.

Когда она приезжала, она всегда просила у папа массу советов по ведению своих дел: унаследовала она имение Эйраголы с большой мельницей, и все у нее там что-то не ладилось, и вечно она жаловалась на свою неопытность. Папа с поразительным терпением выслушивал ее бесконечные запутанные и монотонные рассказы о каких-то обижающих ее соседях и чиновниках, о безденежье, неумении свести концы с

концами. Хотя она и осталась одна после смерти своих родителей, но содержала она еще всяких «приемышей», которых требовалось и кормить, и поить, и одевать, и учить. Кроме этих юношей, жил в Эйраголах убогий старик Петрович, и я любила, когда Зетинька рассказывала о том, как он, сидя себе день-деньской в уголке столовой, куда ему и есть подают, набивает папиросы чем и зарабатывает небольшие деньги.

Папа старался помочь ей и советами и вмешательством в ее дела, где это было необходимо, и только досадовал на то, что совет-то Зетинька попросит, а потом, выслушав его, сделает все по-своему, чем все спутает и испортит. А потом Зетинька снова являлась, снова просила помощи и словом и делом, и снова папа серьезно слушал ее, вникал в ее нужды и помогал.

Но с нами, детьми, Зетинька была весела: играла, гуляла, входила всею душой в наши интересы, рассказывала сказку про Коротышку, и когда я повзрослела, поведала мне тайну своей жизни: романтическую любовь к… путешественнику Пржевальскому, которого она никогда в жизни не видела!

Была она очень большого роста, ходила величественной походкой, очень любила говорить с нашими гувернантками по-французски, уверяла, что род Бунаковых происходит от какого-то князя Бунака, была добра бесконечно и беззаветно любила нашу семью.

Зетинька была самой близкой из знакомых, приезжающих к нам в Колноберже из Ковны, но были и другие. К таковым принадлежали Ольга Иосифовна Лилиенберг и генерал Лошкарев.

Ольга Иосифовна, нестарая еще и красивая вдова, была женщиной весьма энергичной и деятельной и верной помощницей папа при устройстве Народного дома. Во всех вопросах, где женский практичный ум нужнее мужского, мой отец обращался к ней, и я помню, с какой похвалой он отзывался о ее советах и мероприятиях. Она тоже была у нас своим человеком в доме: много времени проводила с детьми, шила и вязала всякие вещи для дома и для нас, а вечером сидела с папа и мама в кабинете и слушала чтение.

Когда она приезжала к нам, то привозила папа в подарок орехи в сахаре и всегда радовалась при этом тому, что случайно узнала, что папа их любит.

– А то, – говорила она, – хочется доставить Петру Аркадьевичу удовольствие, а что подарить человеку не пьющему и не курящему, врагу привычек?

Действительно, папа говорил, что он «враг всяких привычек», так как привычки лишают человека свободы, чего он не хочет

допустить ни за что:

– Разве это не унизительно, что если я не смог закурить, когда почему-либо захотел, из-за этого у меня настроение испорчено, ум не работает ясно и порчу и другим жизнь, и сам не в состоянии ни работать, ни веселиться?

Сколько раз я слыхала, как папа говорил, смеясь, гостям:

– У нас староверческий дом – ни карт, ни вина, ни табака.

Юрий Александрович Лошкарев был отставной генерал: толстый, с большими седыми усами с подусниками, приятный собеседник и умный образованный человек. Почему он жил в Ковне, я не знаю. Жил он в первом этаже большого дома около бульвара и весь день сидел около окна в большом кресле. Он страдал одышкой и ночью спал тоже на этом кресле. Когда мимо него проходил кто-то из знакомых, Юрий Александрович во все времена года, какова бы ни была погода, открывал окно и разговаривал о том о сем, остря, смеясь, пересыпая разговор шутками.

М-ль Сандо почти ежедневно ходила с нами во время утренней прогулки к этому окну. Нам генерал давал по конфекте, м-ль Сандо одалживал французские книги, а когда по прочтении делился с ней впечатлениями, говорил мне своим густым басом:

– Ну, Матя, отойди, голубушка, не про тебя писано.

Прощаясь, он всегда говорил:

– Mille choses a Maman (Тысячу приветов маме), и кончилось тем, что моя маленькая сестра Елена обиженно сказала:

– Vous dites toujours mille choses et ne donnez jamais rein (Вы всегда говорите тысячу вещей, но никогда ничего не даете. Здесь игра слов: «вещь» и «привет» называются одним словом).

Юрий Александрович Лошкарев обедал у нас в определенный день каждую неделю в Ковне и гостил ежегодно недели две в Колноберже.

Глава XV

Часто бывало, что кто-нибудь из наших ковенских друзей приурочивал свой приезд в Колнобержe к празднику рабочих. Это был один из самых веселых дней за лета, и готовились к нему с самой весны, тогда как сам праздник был всегда осенью, после уборки урожая.

Моя мать ввела обычай ежегодно дарить детям наших рабочих по готовому теплому платью, а бабам головные платки. Шили мы эти платья девочкам и рубашки мальчикам всем домом: и мама, и гувернантки, и гостящие у нас друзья и дети, и горничные – и то еле поспевали, так как нужно было их заготовить для сорока семей.

К назначенному дню (всегда теплому и солнечному, а то праздник переносился) все было готово, и я весело с м-ль Сандо и Елизаветой Бенедиктовной убирала в большие бельевые корзины груды платьев и платков, связанных пакетиками по семьям.

Другие такие же корзины наполнялись пряниками, орехами, яблоками и сластями, а третьи табаком, папиросами и фуражками для мужчин.

Все это Казимир с Ильей несли на двор за флигелем, куда уже накануне мы с папа ходили смотреть, как столяр Володко ставит большие деревянные столы.

Теперь экономка с двумя своими помощницами уставляет их пирогами, а под надзором Штраухмана рабочие выкатывают бочку пива и выносят жбаны с водкой.

Посреди двора стоит высокий столб, и утром папа с Штраухманом проверяют, крепок ли он.

Уже целую неделю до праздника Казюк, запевало во время именинных поздравлений, упражняется на этом столбе, и ему же поручается привесить на приделанные к самой его верхушке перекладины четыре фуражки.

Часа в три мы всем домом отправлялись к флигелю, и праздник начинался. Сначала шла раздача подарков, и тут вечно являлись какие-то совсем чужие бабы из далеких деревень, которые на вопрос, что им надо, простодушно отвечали:

– Мы слыхали, что здесь подарки раздаются, вот и пришли.

Для таких незванных гостей у мама всегда бывали запасные платки.

После раздачи подарков начинались состязания мужчин на призы. Первым, конечно, лихо влезал на столб Казюк, садился верхом на перекладину и, размахивая выигранной фуражкой, во всю глотку кричал: «Ку-ку-ре-ку». Бегали наперегонки, прыгали в

мешках и получали из рук моих родителей, смотря по заслугам, кто шапку, кто табак, кто папиросы.

Когда эта часть праздника кончалась, игравший всякие марши оркестр переходил на танцы, и скоро весь двор наполнялся веселыми пляшущими парами, между которыми сновали ребятишки в только что полученных новых костюмах. Тут папа говорил:

– Ну уйдем, а то мы их стесняем.

Дома я с завистью слушала музыку и громкий хохот веселящихся.

Мой отец говорил:

– Если бы ты была мальчиком, тебе можно было бы повеселиться с ними, мы с братьями всегда танцевали на таких праздниках, но девочке это не годится.

Часов в одиннадцать посылался Казимир сказать, что пора кончать, и узнать, все ли благополучно и нет ли пьяных. И из году в год Казимир, вернувшись, докладывал:

– Все хорошо, Петр Аркадьевич, сейчас разойдутся, уже Оттона Германовича качают.

Почти всех этих рабочих я знала с детства и многих из них нашла в Колноберже уже стариками, когда была там в 1920 году. Все переменилось в родном нашем гнезде, но чуть ли не с рождения знакомые мне лица кучера Осипа и весельчака Казюка, теперь морщинистые и старые, так же приветливо улыбались мне и с таким же сердечным участьем, как и в давние годы, спрашивали меня про мою мать, моих сестер, вспоминали моего отца. Ведь они с ним вместе пережили все долгие годы деревенских радостей и горестей, они радовались его повышениям по службе, волновались за него в смутные дни 1905 года.

Когда папа первый раз приехал в Колноберже губернатором, он говорил, улыбаясь:

– Смотрите, какие гордые и веселые лица у рабочих. Они считают, что и они поднялись в чине вместе со мной и что более лестно пахать землю и пасти скот у губернатора, чем у предводителя. Вот забавно. Будто я не остался тем же Петром Аркадьевичем Столыпиным, каким был с рождения!

А когда папа был сделан камергером, то садовник Яша во что бы то ни стало хотел устроить перед домом ковровую клумбу в виде камергерского ключа, с трудом его мама отговорила от этой затеи. Но он все-таки не выдержал и сделал две клумбы, изображающие орденские звезды. Звезды у моего отца тогда никакой не было, но Яша считал, что это, хотя бы аллегорически, напомнит всем и каждому, что его барин удостоен монаршей

милости. Видно, Яше очень понравилась мысль садовника Тотлебенов, который устраивал в Кейданах ковровую клумбу, изображающую девиз Тотлебенов: «Treu auf Tod und Leben» (Верен на жизнь и смерть).

Рассказывают, что девиз этот был ими получен следующим образом.

Когда граф Тотлебен, после Турецкой кампании, представлялся императрице, то она дала ему свой альбом с просьбой написать ей что-нибудь на память. Крепко призадумался граф – побеждать неприятеля казалось ему в эту минуту гораздо легче, чем писать в альбом императрицы всероссийской… Но вдруг он улыбнулся и, взяв, перо, написал: «Treu auf Tod und Leben – Todleben». Императрица так оценила эту красивую мысль, что по ее желанию это изречение было вставлено девизом в тотлебенский герб.

Садовник наш, называемый уменьшительным именем Яша, тогда был уже отцом семейства; был он сиротой и воспитанником моих родителей, почему считал нашу семью своею и, не умея иначе высказать своих чувств, делал орденские звезды из цветов, что смешило и трогало моего отца. Каково же было отношение самого моего отца к чинам, показывает следующий случай.

Как-то из разговоров моих родителей я узнала, что папа получил какой-то чин. Я подошла и поздравила моего отца. Он похлопал меня по щеке и сказал:

– С этим, девочка, поздравлять не стоит. Это «чиновники» придают такое значение чинам, а я работаю в надежде принести пользу нашей Родине, и награда моя – видеть, когда мои начинания идут на благо ближним.

Кончая описание жизни нашей в Ковне и Колноберже, должна еще упомянуть о приездах к нам в деревню архиерея и губернатора. Случалось это по разу в год во время объезда губернии губернатором и епархии архиереем, причем один год устраивался обед у нас, а на следующий год у Тотлебенов.

О дне приезда губернатора я знала всегда заранее, даже не слушая разговоров взрослых, по лихорадочной починке большой дороги, проходившей мимо нашей усадьбы. Приезжал губернатор со свитой, и прием выходил большой, так как приглашались и окрестные помещики.

Так же торжественно происходил и прием архиерея, приезжающего в сопровождении нескольких священников. Наш повар Ефим старался всегда блеснуть своим искусством перед ковенским губернатором, но находился в большом затруднении при составлении постного меню для владыки.

Глава XVI

Особенно оживленными были года, когда лето проводили в Колноберже дедушка Борис Александрович и бабушка Мария Александровна Нейдгарт, родители моей матери.

Дедушку мы боялись из-за его строгого вида, а бабушку очень любили. Мама говорила мне потом, что дедушке очень грустно было, что мы его чуждались, он очень нас любил, но не умел так шутить и играть с детьми, как дедушка Столыпин. Был он почетным опекуном в Москве и, как таковой, имел дело с массою приютов, воспитательных домов, школ, и везде дети его встречали с криками «казенный папаша приехал» и очень любили его.

Бабушка тоже заведовала большим числом богоугодных и учебных заведений, и по утрам, в Москве, каждый из них сидел в своем кабинете, принимая секретарей и просителей.

Дом их в Москве был очень типичен. Это было старинное здание на Арбате, в котором в 1812 году жил маршал Наполеона Ней, с толстенными стенами, большими комнатами, уютными и нарядными. Я очень любила гостить там, что случалось несколько раз за мое детство. Весь уклад жизни на Арбате, чинный, патриархальный и широкий, нравился мне необычайно.

Дом был в три этажа, и занимали его дедушка, бабушка, дядя Саша и тетя Анна со своей бывшей гувернанткой, оставшейся в доме в качестве друга. У каждого члена семьи было по несколько своих комнат. Прислуги было очень много, все жили по многу лет в доме и совсем сроднились с семьей.

Бабушка очень полная, всегда спокойная и неизменно ласковая ко всем, часто звала меня к себе, рассказывала про детство своих детей, разговаривала со мной, расспрашивала про мои вкусы.

Дядя Саша шалил с нами так, что гувернанткам много труда стоило после игр с ним успокоить нас, а молодая нарядная тетя Анна брала нас гулять, дарила красивые подарки и занималась нашими туалетами. Она много выезжала, и я любила слушать ее рассказы про балы и вечера. Особенно интересовали меня балы у великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича, которые очень много принимали и в Москве в генерал-губернаторском доме, и под Москвой в Нескучном. Помню рассказ о том, как тетя Анна танцевала с наследником, Николаем Александровичем, незадолго до этого вернувшимся из своего путешествия в Японию. Наследник рассказывал про свое плавание на Восток и так увлекся, что оставался стоять с тетей

Анной посреди залы, перенесясь мыслями в Индию и Сиам. И только когда тетя Анна, заметив замешательство дирижера, попросила великого князя отвести ее на ее место, он вспомнил, где он, сконфуженно улыбнулся и предложил ей руку.

Когда мы бывали в Москве, папа и мама тоже принимали участие в этих приемах, что я очень любила из-за красивых безделушек, которые мама получала во время «котильонов» и привозила всегда мне.

А как я любила, когда бабушка и дедушка приезжали на летние месяцы в Колноберже. С ними приезжали тетя Анна, домашний доктор дедушки Зеренин, камердинер Семен и девушка Варвара. Дом наполнялся, оживлялся, и вся жизнь менялась. Для меня самым удивительным было то, какими вдруг молодыми становились мама и папа: родители, высшая инстанция во всех спорных вопросах, высшее начальство и неоспоримый авторитет – вдруг имеют высшего над собой! Почтительны, предупредительны и внимательны. Папа, всегда занимающий с мама самое важное место в глубине коляски, садится на козлы рядом с кучером, предварительно усадив и удобно устроив дедушку и бабушку. А когда с ним заговаривают «старшие», папа, от природы очень застенчивый, даже краснеет.

Приезжали бабушка и дедушка из Москвы в своем вагоне, который все время их пребывания у нас стоял в Кейданах. Когда мы ездили в церковь или к Тотлебенам, бабушка говорила:

– Будете проезжать мимо вагона, посмотрите, что проводник Гвоздев поделывает.

И всегда в хорошую погоду можно было видеть Гвоздева прогуливающимся около вверенного ему вагона.

После завтрака и обеда дедушка всегда играл в безик. В Москве ему составляли партию разные родные и знакомые, а в Колноберже эта обязанность лежала на докторе Зеренине.

Отец дедушки Бориса Александровича был главнокомандующим на Кавказе, и когда я, уже взрослой, иногда давала волю своим нервам, всегда рассказывалось мне о том, как этот мой прадед представлялся как-то императору Николаю Павловичу, который его спросил:

– Как здоровье твоей жены?

– Ничего, ваше величество, благодарю, только вот нервы все мучают.

– Нервы? – возразил император. – У императрицы тоже были нервы, но я сказал, чтобы не было нервов, – и их нет.

А когда мы были детьми, ставился нам в пример Суворов, внучкой которого была моя бабка М. А. Нейдгарт. Ее мать, урожденная графиня Зубова, была дочерью «Суворочки»,

единственной дочери генералиссимуса. И с детства мне внушали один из его заветов потомству: «Не кончить дела – ничего не сделать».

Глава XVII

Когда мне было 15 лет, я первый раз попала за границу вдвоем с моим отцом. Эта неделя была одной из счастливейших в моей жизни. Вот как это произошло.

Той осенью я плохо себя чувствовала: вечные головокружения, изводящие и меня и близких, беспричинные слезы, бледность, быстрое утомление – все это не в шутку встревожило моих родителей.

Вообще папа терпеть не мог нытья и никаких истерик не допускал, но тут он увидел, что дело серьезно и надо меня лечить.

И вот вечером – это было в октябре – зовут меня к себе мои родители и объявляют, что на следующий день я еду с папа в Берлин на целую неделю, что я теперь большая девочка и пора мне посмотреть и заграничные города. Легко себе представить и удивление мое и радость! До тех пор, кроме переездов в Ковну и поездок в Москву, единственным моим путешествием была поездка в Либаву, когда мне было лет семь. Папа туда ехал по делам Сельскохозяйственного общества и взял мама и меня с собой. Из этой поездки я помню лишь, что мы с вокзала ехали в карете с зеркалами вместо стекол, так что кучера не было видно. Я спросила, как этот экипаж движется без лошадей. После этого меня дразнили моей наивностью, не предвидя, что в близком будущем все мы будем кататься без лошадей на автомобилях.

Путешествие наше в Берлин удалось на славу. С того момента, что мы сели с папа в коляску, чтобы ехать на станцию, и до момента возвращения – мне было весело и легко, как в сказке, и, конечно, лучшего способа развлечься и отдохнуть родители мои придумать не могли. Кажется, впрочем, что на эту мысль навел их Иван Иванович, все лето безрезультатно боровшийся с моим недомоганием.

Только что мы переехали границу, и поезд, швыряя вагоны из стороны в сторону, с непривычной быстротой помчал нас по новым незнакомым местам, я почувствовала себя на другой планете.

Какая разница с тихо и плавно идущими широкими русскими вагонами. И какая разница между нашими деревнями и беленькими немецкими домиками; между нашими русскими раскинувшимися на необозримые пространства полями и аккуратненькими четырехугольниками полей немецких. Все иначе, чем у нас, и все интересно. А когда мы приехали в Берлин, то я вначале совсем растерялась после колнобержской тиши в

шуме и сутолоке Фридрихштрассе и, как маленькая, держалась за руку папа.

Каждый день приносил новые впечатления, и осмотр такого города, как Берлин, с таким культурным и умным руководителем, конечно, не мог не дать <…> и очень любили его.

Папа водил меня в разные кварталы города и старался осветить мне жизнь чужого народа со всех сторон, знакомил с германским искусством и историей страны, водил и в большие рестораны, и в типичные «бирхалле» (пивные). Сам живо всем интересуясь, он увлекал и меня, еще ничего не видавшую маленькую провинциалку.

Рассказывал папа и о своих путешествиях, которых много совершил в детстве, когда его мать подолгу живала в Швейцарии со своей дочерью, а мой отец с братьями жили с дедушкой в Вильне и Орле, где учились. На лето они ездили к бабушке и совершали по Швейцарии много экскурсий, причем непременно в третьем классе, «чтобы мальчики не баловались».

Во время одной из таких экскурсий мой отец спас жизнь одному молодому человеку, поскользнувшемуся в горах и повисшему над пропастью. Папа с опасностью для жизни спас незнакомца, и рассказ об этом приводил меня в восторг, заставляя мечтать о геройских подвигах, о спасении ближнего, о благодарных слезах спасенных…

Прошло после инцидента в Швейцарии много лет, и вот к моему отцу, уже председателю Совета министров, является во время приема какая-то дама, оказавшаяся матерью спасенного юноши.

К изумлению моего отца, она вдруг говорит ему:

– И зачем вы, ваше высокопревосходительство, спасли тогда в Швейцарии моего сына? Если бы вы только знали, какой из него вышел негодяй. Зачем он только на свете живет и всех нас мучит!

Вот они, благодарные слезы спасенных!

Вернулась я в Колноберже успокоенной, окрепшей, богатой новыми впечатлениями и навсегда полюбившей Германию.

На следующий год мы снова ездили туда, но на этот раз лишь до Кенигсберга и втроем: папа, мама и я. Из этой поездки мне запомнилась почему-то прогулка около моря в Кранце. Папа и мама тихо ходили по пляжу, разговаривая и любуясь закатом; я собирала камешки и то и дело подымала голову и останавливалась, подавленная величием моря, его полным своей особой жизни спокойствием и нежными перламутровыми тонами воды и неба. Кажется, я тогда впервые поняла, что такое природа и что она дает человеку.

В этом году я получила ко дню своего рождения подарок от

папа, который мне доставил исключительное удовольствие. Как назло, в этот день в шесть часов утра папа должен был ехать в Ковну. Совсем рано я слышу тихие шаги и сквозь сон вижу наклонившуюся надо мной фигуру папа, который меня крестит, целует и ставит что-то на ночной столик. Вставая утром, я вижу, что это маленький бюст Пушкина, а под ним бумажка, где рукой папа написано: «Доставляй нам и впредь столько радостей, как за истекшие шестнадцать лет».

Этой же зимой я заболела перемежающейся лихорадкой, в такой тяжелой форме, что пролежала четыре месяца. Я как раз кончала курс гимназии, и эта столь неожиданная в ковенском климате болезнь приводила меня в отчаяние. Но пришлось покориться и чуть ли не со слезами дать мама унести все учебники, которыми я себя обложила в постели.

В это время я особенно поняла и оценила всю силу любви моего отца ко мне. Он с первого же дня уступил мне свою кровать, чтобы я могла спать рядом с мама, а сам до конца моей болезни проспал рядом со спальной в шкапной, на маленькой железной кровати, слишком короткой для его громадного роста. Он переносил меня на руках в другую комнату, когда спальня проветривалась. А ведь его правая рука была больная!

Утром и днем ко мне то и дело наведывалась мама, а вечер был временем папа. Днем он лишь урывками заходил ко мне между занятиями, а вечером, после обеда, всегда уделял мне часок.

Вначале, во время приступов лихорадки, я, конечно, ничего не понимала, но потом, когда я, сильно ослабевшая, часами лежала без движения, какой радостью наполнялось сердце, когда издали слышались шаги папа. Вот он сейчас войдет, поцелует, заботливо спросит, как и что я ела, есть ли у меня еще запас икры, которой меня велел кормить доктор, и, если все хорошо, весело скажет:

– Давай кисленькую, и сразимся в дамки.

«Кисленькими» были мои монпансье, которыми, как и икрой, не забывала меня снабжать мама, принося мне, кроме того, почти с каждой прогулки подарки. Я угощала папа, и начиналась партия в шашки, которую я почти всегда проигрывала.

А иногда мы просто разговаривали: часто говорили про прочитанное или папа, всегда охотно, отвечал на все вопросы, рождавшиеся в моем шестнадцатилетнем мозгу, или сам рассказывал мне что-нибудь.

И теперь, через тридцать с лишком лет, когда я вспоминаю эти вечера, становится тепло и светло на душе, укрепляется вера в людей, в смысл жизни, в призвание человека жить для блага

ближнего.

С наступлением весны стали возвращаться ко мне силы, и наконец наступил день, когда я смогла дойти до столовой и когда папа за обедом сказал:

– Сегодня, первый раз после четырех месяцев, с нами обедает наша старшая дочь.

Скоро после моего первого выхода начались сборы в Бад-Эльстер, куда меня послал доктор. Решили ехать всей семьей, с двумя гувернантками и горничными, и в мае двинулись в путь.

Это путешествие положило грань между нашей счастливой, уютной жизнью в Ковне, когда мой отец, не будучи еще завален работой, уделял нам достаточно времени, чтобы иметь возможность входить во все наши интересы и жить нашей жизнью.

После Эльстера начался новый период, в который, будучи губернатором, папа настолько ушел в свою службу, с такой кипучей энергией погрузился в свои новые обязанности, что семье он мог уделять очень мало времени, и то старался провести это время с мама, так что мои младшие сестры не знают, что такое прогулки с папа, разговоры и чтение с ним.

Часть вторая

Глава I

В середине мая 1902 г. мы весело выехали в Эльстер. Было нас десять человек, так что в Берлине, где мы проездом останавливались на два дня, пришлось в гостинице занять целую амфиладу комнат. Я была еще очень слаба, и эта остановка была сделана, чтобы дать мне отдохнуть, а папа поехал один вперед, чтобы нанять нам в Эльстере виллу.

Ни дорогой, ни в Берлине ничем я не интересовалась, все больше лежала, и тянуло меня только домой, в кровать, отдыхать, отдыхать… не слышать ни утомительного шума поезда, ни резких свистков локомотива, не видеть чужих людей и суеты кругом себя.

Но только мы приехали в Эльстер, все изменилось как по мановенью волшебного жезла.

На вокзале встретил нас мой отец, помолодевший и жизнерадостный, и сразу стал оживленно рассказывать, что нашел нам очень удобное помещение – целый этаж прекрасной виллы, и о том, как любезно встречали его везде хозяйки пансионов, и как в одном месте, желая его подкупить знанием русского языка, немка, хозяйка виллы, сказала ему, приподымая свой фартучек двумя пальцами и делая глубокий реверанс:

– Ми вас любик.

От вокзала до курорта приходилось в то время ехать на лошадях километра четыре.

Дивная, гладкая дорога, каких я никогда не видала, шла через поля и луга, за которыми виднелся темный, густой хвойный лес на горе. Сам Эльстер лежит довольно высоко, так что, когда подъезжаешь к нему, уже в поезде чувствуется, насколько воздух становится легче, когда же после вагона садишься в коляску и вдыхаешь его полной грудью, кажется, будто новая жизнь вливается в тебя.

Любезная, предупредительная фрау Вик, хозяйка пансиона, разместила нас по нашим комнатам, где все, по указаниям папа, было ею удобно и уютно устроено для нас, и тут же познакомила моих сестер со своей дочкой Ганной, с которой они с первого же дня подружились. Я тоже с первого же дня стала оживать; воздух пьянил, как шампанское, а целебные ванны молодили взрослых и укрепляли детей.

Конечно, все, даже здоровенная латышка Лина, горничная мама, брали ванны и пили воды. Да рассуждать много и не приходилось с того момента, что мы попали в энергичные руки доктора Бехлера. Он мигом, не позволяя никому пускаться в

разговоры или рассказывать о своих болезнях, всех выстукал, выслушал и определил, кому чем и как лечиться, в котором часу купаться, кому пить «Мариен», а кому «Моритцквелле», когда есть, сколько спать. Толстый, краснощекий с громким голосом – он обращался с пациентом как с вещью, видя в нем при исполнении своих докторских обязанностей лишь объект лечения. Мама сначала старалась высказать некоторую самостоятельность, но, убедившись вскоре, насколько умело и умно распоряжается Бехлер, махнула рукой на все им установленные «Stundenplan» для детей и вполне подчинилась его воле.

Папа доктор прописал грязевые ванны для его больной руки, и очень скоро стало появляться в ней, к нашей несказанной радости, подобие жизни, чего не наблюдалось уже восемнадцать лет.

Днем, в свободное от лечения время, мы часто катались, посещая с моими родителями соседние города. В одном был музей музыкальных инструментов, в другом – фабрика изделий из перламутра, которыми были переполнены магазины Эльстера, в третьем – еще какая-то достопримечательность.

Самочувствие у папа было великолепное. Надежда, хотя и слабая, на выздоровление руки его ободряла, и время протекало чудесно.

Каждое утро являлась чистенькая, аккуратная горничная доктора Бехлера и говорила, сделавши книксен:

– Herr Sanitatsrat lasst schon grussen und (Господин санитетсрат шлет свой лучший привет), – и тут следовал перечень предписаний на текущий день и вопросов, относящихся к здоровью каждого пациента в отдельности. Мои родители даже начинали беспокоиться, во сколько им обойдется такое внимательное лечение; брать за каждый визит он отказался и сказал, что счет будет прислан к концу всего курса лечения. Счет этот оказался настолько смехотворно маленьким, что моя мать в себя не могла прийти от удивления, говоря, что несколько визитов нашего ковенского доктора дороже, чем все шесть недель докторского наблюдения в Эльстере.

Моим самым любимым временем дня в Эльстере был вечер, когда так приятно было сидеть на нашем балконе. Вилла лежала поодаль от парка, откуда еле-еле долетали звуки музыки, потом она стихала, и через некоторое время раздавалась песня почтальона, трубившего в свой рог. Вскоре показывался и он сам на длинной желтой тележке.

Так поэтичны были мелодии, разносящиеся в тихом воздухе, и такой стариной веяло от самого почтальона и его резвой лошадки, что душа переносилась в давно исчезнувшую Германию

Гете, целомудренно-вдумчивую и полную поэзии.

За темным сосновым лесом торжественно опускалось солнце, звуки рога умирали вдали, и мы шли спать, умиротворенные, спокойные и счастливые.

Этой жизни дней через десять был неожиданно положен конец. Пришла телеграмма от министра внутренних дел Плеве, только что сменившего убитого революционерами Сипягина, вызывающая папа срочно в Петербург.

Не только мы, дети, но и наши родители настолько сроднились с Ковной, так был чужд какого-нибудь карьеризма мой отец, что все мы себе голову ломали над тем, что мог бы значить подобный вызов, не представляя себе, что речь шла о новом назначении. Грустно простились мы с папа и остались одни в Эльстере, теряясь в догадках и надеясь вскоре увидать отца снова с нами. Отъезд папа был особенно грустен из-за прекращения столь удачно начавшегося лечения.

Дня через три все выяснялось получением телеграммы от папа с сообщением, что он назначен губернатором в Гродну. В той же телеграмме папа сообщал, что едет прямо в Гродну и в Эльстер больше не вернется.

Узнав все это, я горько расплакалась: не жить больше в Ковне, которую, когда я там была, я особенно не ценила и не любила, показалось мне вдруг ужасным, и я слышать ничего не хотела ни о Гродне, ни о новых учителях.

Кончив курс лечения и пробыв еще в Эльстере срок, назначенный Бехлером, мы вернулись в августе в Колноберже.

От папа из Гродны получались довольные письма. С грустью простившись со своими сослуживцами в Ковне и утешаясь мыслью, что многих он будет видеть в Колноберже во время отпусков, он бодро приступил к новой работе. Письма его дышали энергией, были полны интереса к новому делу, и, к счастью, ему очень понравились его ближайшие сотрудники и подчиненные.

Предводителем дворянства был П. В. Веревкин, друг юности папа, что ему было особенно приятно. Сошелся он во взглядах и с вице-губернатором Лишиным и был очень доволен работой своего правителя канцелярии, князя А. В. Оболенского, и своими чиновниками особых поручений, между которыми особенно выделял Вейса и о котором в каждом почти письме говорил, что редко приходится встречать человека, столь глубоко порядочного и с такой чистой душой.

Мама съездила в Гродну на несколько дней, распределить комнаты, дать указания для устройства дома, и вернулась в Колноберже в полном восторге от нового местожительства.

Папа приезжал провести свой отпуск, очень короткий в этот

год, в Колноберже и все время, проведенное там, посвятил хозяйству.

Помню, как один из наших соседей, глядя издали с мама на моего отца, который оживленно обсуждал с Штраухманом какие-то хозяйственные вопросы, сказал:

– Петр Аркадьевич, не губернаторское это дело!

На это папа весело отозвался:

– Не губернаторское, а помещичье, значит, важное и нужное.

Глава II

Осенью мы все переехали в Гродну. Папа встретил нас в губернаторской форме, окруженный незнакомыми чиновниками.

Проезжая по улицам тихой Гродны, я почувствовала, что мне нравится этот город, а когда я попала в губернаторский дом и увидела окружающие его сады, мое предубеждение против Гродны совсем пропало.

И действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше этого старого замка короля польского, Станислава Понятовского, отведенного губернатору. В одном нашем помещении шли анфиладой десять комнат, так что бывший до моего отца губернатором князь Урусов ездил по ним на велосипеде. И что за комнаты! Очень высокие, глубокие, уютные комнаты большого старинного помещичьего дома, с массою коридорчиков, каких-то углов и закоулков. Кроме нашего помещения, находились в этом дворце еще губернское присутствие, губернская типография и много квартир чиновников. В общей сложности в сад выходило шестьдесят окон в один ряд. Под той же крышей был и городской театр, устроенный в бывшей королевской конюшне и соединенный дверью с нашим помещением. У папа, как губернатора, была там своя ложа, и Казимир приносил нам, когда мы бывали в театре, чай, который мы пили в аванложе.

Сад наш был окружен тремя другими садами: городским, князя Чарторийского и еще каким-то. Князь Чарторийский, элегантный поляк с манерами и французским языком доброго старого времени, часто бывал у нас. Часто бывали у нас и некоторые из чиновников папа и их жены, так что, хотя не было уже семейно-патриархальных ковенских вечеров, все же это не была еще жизнь последующих лет, когда почти не оставалось у папа времени для семьи.

В этом старом замке было столько места, что у меня одной было три комнаты: спальня, очень красивая, овальная, вся голубая с белым, гостиная и классная. Последняя и частный кабинет папа составляли верх дома и были самыми его красивыми комнатами: кабинет со стенами резного дуба, обрамлявшего оригинальную серую с красным ткань, и моя классная, с потолком и стенами полированного дерева. Хорошо было в ней учиться: три окна в сад, тихо, спокойно… даже нелюбимая математика – и та легко укладывалась в голове, когда я занималась там. Вечером в свободные минуты я заходила к папа, но всегда не надолго – всегда мешал кто-нибудь из чиновников, приходивших с докладами или за распоряжениями. В

деловой кабинет внизу мы уже не входили, как в Ковне, и видали папа лишь за завтраком, за которым всегда бывал и дежурный чиновник особых поручений, и за обедом.

По воскресеньям в большой белой зале с колоннами бывали танц-классы, как и раньше в Ковне. Я, как «большая», уже не училась и лишь смотрела на «детей». Эти друзья моих сестер, со страхом делая большой круг, проходили в передней мимо чучела зубра. Громадный зверь, убитый в Беловежской Пуще, был, действительно, страшен на вид и своими размерами, и густой черной шерстью, и угрожающе наклоненной тяжелой головой.

Беловежская Пуща, гордость Гродненской губернии, была почти единственным местом на свете, где еще водились эти звери, и охота в этом заповедном лесу бережно охранялась. Размеры Пущи грандиозные – 2500 кв. верст, и, несмотря на это, все зубры были на учете. Очень красивый дворец и вся Пуща оживлялись лишь в те года, когда государь и весь двор приезжали на охоту.

Особенностью Гродненской губернии было еще то, что губернский город в ней был меньше двух ее уездных городов: Белостока и приобревшего в истории России столь печальную известность Брест-Литовска. Эти большие торговые центры были настолько значительных размеров, что в каждом из них было по полицмейстеру, полагавшемуся обыкновенно лишь губернскому городу.

Мой отец, самый молодой губернатор России, очень увлекся своей новой работой. Не удовлетворяла она его полностью лишь потому, что он в ней лишен был полной самостоятельности. Это происходило потому, что Гродненская губерния с Ковенской и Виленской составляли одно генерал-губернаторство, и, таким образом, губернаторы этих губерний подчинялись генерал-губернатору виленскому. Хотя в то время и был таковым крайне мягкий администратор и очень хороший человек князь Святополк-Мирский, работа моего отца под начальством которого ни одним трением не омрачилась, все же она не была совершенно самостоятельной, что претило характеру папа.

Конечно, с первых дней губернаторства моего отца стали осаждать просьбами о получении места. Даже я получала письма с просьбами о заступничестве. Мой отец терпеть не мог этих ходатайств о «протекции», и ни родные, ни знакомые не получали просимого, кроме очень редких случаев, когда были этого действительно достойны. Кажется, так до конца жизни и не простили моему отцу добрые старые тетушки того, что он, и то не сразу, дал лишь очень скромное место их протеже, одному нашему родственнику. На доводы папа, что он не мог иначе

поступить, они лишь недоверчиво и неодобрительно качали головой. Мне это напоминало, как в детстве приходили к папа крестьяне просить, чтобы он освободил их сына или внука от воинской повинности, и когда им мой отец отвечал, что не может этого сделать, что это противозаконно, повторяли:

– Не может, не может! Если пан захочет, то все может сделать.

Я той зимой кончала курс гимназии, который в 1902 году, из-за болезни, кончить не могла, и была так поглощена уроками, что жила совсем обособленно от семьи, проводя почти весь день за книгами или с учителями в своей классной. Из-за этого я мало знаю о деятельности моего отца и жизни семьи в это время. С папа бывала я очень мало. Хотя и сохранились частью ковенские старинные привычки, но жизнь настолько изменилась, что все принимало другой оттенок.

Ходили мы с моим отцом по-прежнему в церковь, но какой-то иной отпечаток клало на все окружающее, вытягивающиеся в струнку, козыряющие городовые, в соборе полицейский, расчищающий дорогу; почетное место, совсем спереди, перед алтарем.

Младшие сестры теперь тоже учились, но еще мало. Ведь старшей из них, Наташе, было всего одиннадцать лет, а маленькой, Аре, пять.

Недолго прожили мы в милой Гродне, с которой только начали свыкаться. Не пробыв и десяти месяцев губернатором этой губернии, уже в марте 1903 года мой отец был назначен саратовским губернатором.

За этот короткий срок успели в Петербурге оценить способности молодого губернатора и решили дать ему более ответственный пост, поручая управлять Саратовской губернией, большей по размерам, не подчиненной генерал-губернатору и населенной разными народностями, являющими собою поразительные контрасты. В ее степях жили полудикие, близкие по своему образу жизни к кочевникам, киргизы, рядом с кочевниками вы попадали в Сарепту, немецкую колонию, с аккуратными беленькими домиками, электричеством, водопроводами и богатую вообще всем, что давала культура тридцать лет тому назад.

Климат в этой губернии тоже разный. Зимой, пять, шесть месяцев, Саратов покрыт снегом, не нашим ковенским, рыхлым, через день тающим, а белой снежной пеленой, снегом, сияющим на солнце и хрустящим при двадцатиградусном морозе.

В политическом отношении Саратов сильно отличался от северо-западных губерний. Существование земства клало на всю

общественную жизнь совсем иной отпечаток.

Перспектива управлять такой губернией очень привлекала папа, а то, что его деятельность в Гродне была оценена, сильно его ободряло.

Что было очень приятно при отъезде, это сознание, что на лето снова вернемся в родные края, в Колноберже. Родовые столыпинские земли находились как раз в Саратовской губернии, дворянами которой мы и являлись. Свое имение мой отец продал года за два до назначения в Саратов, чтобы никогда больше не ездить в эту даль.

Было известно, что Саратовская и Пензенская губернии самые передовые во всей России, и ко времени назначения моего отца настроение в Саратове было с явно левым уклоном. Когда возникали там беспорядки – губернские власти всегда покидали город и все переходило в руки младшего административного аппарата.

Глава III

Выехали мы из Гродны – и, должна сознаться, с грустью, – все вместе. Папа доехал с нами до Москвы и поехал дальше в Саратов, мы же с мама остались до переезда в Колнобержe в Москве, у бабушки Марии Александровны Нейдгарт.

Сильно изменился милый арбатский дом с тех пор, как мы были в нем четыре года тому назад. Дедушки в живых уже не было, тетя Анна была замужем за границей. Бабушка занимала один нижний этаж, прислуги было значительно меньше, оба верхних этажа сдавались.

Все это показалось сначала очень грустным, но бабушка сразу нас так уютно всех устроила, так тепло приласкала, и видно было, что она так рада нас всех видеть у себя, что скоро мы почувствовали себя на Арбате так же, как всегда, счастливыми и довольными.

И бабушку, и мама очень огорчило мое полнейшее равнодушие к туалетам и светским удовольствиям, и они все ждали случая «pour me faire faire mon entree dans le monde» (осуществить мое вступление в свет).

У бабушки был альбом, в котором она собирала подписи знаменитых людей, с которыми встречалась во время своей молодости. Рассматривать этот альбом и слушать объяснения и воспоминания бабушки, с ним связанные, было для меня истинным наслаждением. Помню подпись великой Рашель, Тургенева и др.

Тургенев в свое время читал у бабушки вслух «Записки охотника». Она много мне обо всех рассказывала и, как всегда в этом возрасте, больше жила прошлым, чем настоящим. Но одно достижение современной культуры ее все-таки очень интересовало – это электричество. Первое, что бабушка сделала, когда мы приехали, подвела меня к какой-то кнопке на стене и с таинственной улыбкой сказала: «Поверни-ка эту штучку». Когда комнату залил яркий свет, столь непривычный в этих старых стенах, не знаю, кто веселее засмеялся, семнадцатилетняя внучка или семидесятилетняя бабушка.

Царская семья в этом году проводила Пасху в Москве, и дворянство давало государю большой завтрак в Дворянском собрании. Вот, наконец, случай для моего первого выезда в свет. Мама была не совсем здорова, и было решено, что я поеду на этот завтрак вдвоем с папа. Эта перспектива и радовала, и пугала меня.

Приехал папа перед самой Пасхой, и мы все без конца

слушали его рассказы о далеком, чужом Саратове, куда меня совсем не тянуло. Все меня дразнили, что я еду, как грибоедовская героиня: «В Саратов, к тетке, в глушь», и я чуть не плакала от досады, отвечая, что даже тетки-то у меня там нет!

Несколько лет подряд в Саратове были холостые губернаторы, и губернаторский дом был в таком виде, что семейному человеку думать нечего было жить в нем, почему папа и занимался теперь постройкой нового дома. Все должно было быть готово к нашему приезду, осенью.

Мой отец очень интересовался туалетом, в котором я буду на царском завтраке. Все было готово: и нарядное белое платье и шляпа с белыми цветами.

Папа заставил меня все примерить и остался всем очень доволен.

На второй день Пасхи мы поехали с папа в Дворянское собрание. В первой зале гостей встречала жена московского губернского предводителя дворянства княгиня Трубецкая. Когда мы, поздоровавшись с ней, проходили по зале, я посмотрела в зеркало и сразу не могла сообразить, кто эта взрослая девица в белом, идущая под руку с высоким мужчиной в придворном мундире. Но, кажется, папа был горд не менее меня, вывозя первый раз в жизни взрослую дочь.

Когда мы вошли в большой зал, меня покинуло спокойствие, а когда папа ушел, оставив меня одну с какими-то незнакомыми девицами, стало и совсем неуютно. Все мои московские подруги были старше меня и были уже фрейлинами, почему и сидели в другом месте, не там, где мы, «простые смертные», как я мысленно называла всех, с кем должна была сидеть. Раньше чем уйти на свое место, папа познакомил меня с моей соседкой по столу красавицей княжной Львовой, которую просил «протежировать» мне, и она очень мило мною занималась, но, несмотря на это, было мне очень страшно. Слишком все было непривычно и непохоже на то, что я видела раньше в Ковне и Колноберже.

Большой, знаменитый своей красотой зал Дворянского собрания был полон, не приехали только высочайшие гости.

Все разговаривали, смеялись, искали свои места. В глазах рябило от блеска мундиров и дамских нарядов, а в ушах звенело от гула множества голосов, звона шпор, шума отодвигаемых стульев.

Царский стол стоял на возвышении, в конце зала. Приборы на нем были расставлены лишь с одной стороны, лицом к публике. Остальные гости тоже сидели, только с одной стороны, лицом к высочайшему столу.

Не успела я еще освоиться со всем окружающим, как неожиданно наступила тишина, нарушаемая лишь постукиванием церемониймейстерской палочки. Все как-то подтянулись и повернулись к возвышению, на котором появились государь, императрица и другие особы императорской фамилии.

Тут я первый раз в жизни увидела государя, и он даже издали произвел на меня такое впечатление, что я только на него и смотрела, чтобы еще и еще увидеть его прекрасные глаза. Императрица, молодая, красивая, царственно-величественная, не притягивала так к себе. Не было в ней этого манящего очарования.

Глава IV

Сразу после Пасхи 1903 г. папа уехал в Саратов, а мы вернулись в наше любимое Колноберже. Какое счастье было увидать после стольких дальних скитаний родное гнездо. Не говоря уже о людях, животных, но и все вещи, казалось, радостно нас приветствовали – и знакомые во всех деталях деревья сада, и мебель, и сам дом ласково улыбались нам. Старые, прочитанные десятки раз книги, полусломанные игрушки влекли к себе, как испытанные друзья, и мы с первого же дня погрузились в нашу счастливую обычную жизнь.

В июле меня послали с м-ль Сандо в Эльстер, проделать второй курс лечения. Двадцатого июля я была несказанно обрадована там телеграммой папа: «Felicitons avec petit frere Arcady» (Поздравляю с маленьким братом Аркадием). Наконец осуществилась мечта моих родителей и Господь послал им, на девятнадцатом году женитьбы, первого сына.

Когда я вернулась в Колноберже, мама сразу провела меня к себе в спальню, где сидела кормилица с толстеньким, красивым младенцем на руках. Когда я к нему нагнулась, он повернул голову в мою сторону и улыбнулся.

– Улыбай, улыбай, – ликовала плохо говорившая по-русски литовка-кормилица, а мама, растроганно глядя на своего сына, сказала:

– Тебе он первой в жизни улыбнулся.

Папа уже уехал в Саратов, и я только по рассказам знаю о торжественных крестинах моего брата, о том, как добросовестно отпраздновали рабочие рождение «панайчука» большим праздником, устроенным для них папа, и о том, как отец Антоний на этот раз не преминул поздравить родителей.

Папа в Саратове понемногу привыкал к новым условиям работы, осваивался с окружающим и очень звал нас всех скорее к себе в новый отделанный им дом. Мы и уехали в город так рано, как этого никогда прежде не бывало – уже в октябре.

По дороге остановка у бабушки, счастливой возможностью познакомиться со своим внуком. Теперь, когда я была уже взрослой, Москва все больше и больше покоряла меня, и мне при каждом отъезде было грустно разлучаться с «красавицей Белокаменной», как с любимым человеком.

Когда мы выезжали из Ковенской губернии, была осень, с голыми деревьями, туманом, слякотью, а в Саратове, через три дня пути, не считая остановки в Москве, нас встретил жаркий летний день. Папа в белом кителе и летней фуражке, пыльные

улицы, духота – все это поразило нас. Хотя уже и по дороге становилось все теплее и теплее, но такого контраста мы все же не ожидали. И не в одном этом контраст. Все, все другое, для меня чуждое, не родное.

Чистая русская речь мужиков, их внешний вид, знакомый мне лишь по картинкам, виды из вагона на необъятные, без конца без края, уходящие в даль поля, церкви в каждом виднеющемся издали селе – все непривычное, все знакомое лишь по книгам.

А сам Саратов. Боже, как он мне не понравился! Кроме счастья видеть папа, все наводило на меня здесь уныние и тоску: улицы, проведенные будто по линейке, маленькие, скучные домики по их сторонам, полное отсутствие зелени, кроме нескольких чахлых липок вокруг собора. Волга оказалась так далеко за городом, что туда и ходить не разрешалось: такой в тех местах проживал темный люд и так много там бывало пьяных.

Красива только старая часть города с собором, типичным гостиным двором с бойкими приказчиками. В этих местах я снова чувствовала что-то близкое и родное, но сразу свыкнуться с этим чисто русским бытом было трудно – давали о себе знать первые семнадцать лет жизни, проведенные на окраине России.

Дом наш всем нам полюбился – просторный с красивыми большими высокими комнатами, весь новый, чистый и – о радость! – освещенный электричеством. Но мама этого новшества не признавала и завела у себя на письменном столе керосиновую лампу. Говорила, что электричество портит глаза.

Понемногу стали мы тоже свыкаться с новой жизнью и новыми знакомыми, между которыми оказались и старые друзья, и родственники, помещики Саратовской губернии, князья Гагарины, граф Д. А. Олсуфьев, Катковы. Познакомились и очень сошлись мы с кн. Кропоткиными, живущими в самом городе. Начались уроки танцев. Мама посвящала по несколько часов в день всяким делам по благотворительности; маленькие сестры учились уже серьезно; я увлекалась рисованием и историей, которыми занималась с прекрасными преподавателями.

Одним словом, жизнь налаживалась. Одно, к чему трудно было привыкнуть, это к тому, что папа так мало мог принимать участья в нашей жизни… Полчаса отдыха после обеда, во время которого он с мама ходил взад и вперед по зале, и потом полчаса за вечерним чаем – вот и все. Все остальное время он работал. Так протекло время до Рождества.

Весело провели мы праздники. Ночью, в двенадцать часов, в нашей семье никогда не встречали Новый год, пока дети были маленькими. Ограничивались поздравлениями в самый день первого января. В Ковне и Гродне придерживались старого

обычая: мужчины ездили в этот день по всему городу от одной знакомой дамы к другой. И дамы и кавалеры находили эти визиты, длящиеся большей частью лишь по несколько минут, утомительными и скучными, но в голову не могло никому прийти, что Новый год мог бы быть иначе «отпразднован». Вечером дамы с гордостью подсчитывали количество «визитеров», а последние тоже с гордостью и усталым видом рассказывали, сколько домов они объехали.

В Саратове этот обычай был заменен «взаимными поздравлениями». Это было и приятно и весело. Все желающие поздравить друг друга, и дамы, и мужчины, съезжались к известному часу в большую залу городской думы – желали друг другу счастья, пили чай и разъезжались по домам. Картина этих съездов получалась довольно пестрая и оживленная. Непривычную в провинцию ноту вносила съезжающаяся на праздники к родителям учащаяся в столицах молодежь. А мы, провинциальные девицы, с жадным интересом смотрели на голубые воротники студентов и их, по нашему мнению, поразительно элегантные сюртуки; на треуголки лицеистов и правоведов и, конечно, больше всего на юнкеров и кадетов, представляющихся нам воплощением военной лихости и отваги.

Все эти юноши, чувствуя на себе взоры девиц, держались гордо-надменно, говорили с нами свысока, много рассказывали о посещаемых ими в столицах аристократических домах, упоминая вскользь и о том, что в таком-то ресторане Москвы или Петербурга особенно хорошо такое-то блюдо, давая нам этим понять, что и ресторанная жизнь им не чужда. А у моей подруги был брат, морской кадет. Когда он, гремя палашом, вошел в залу, то не он один, а и родители и сестра его сияли гордостью. Эта сестра под секретом рассказала мне, что в ножнах палаша ее брата положен серебряный пятачок, чтобы он громче гремел, – во всяком случае, эффекта он добился большого.

Конечно, на взаимных поздравлениях собиралось все общество – не так уже много развлечений в провинции, чтобы пропустить случай повидать знакомых и блеснуть новым туалетом.

Тридцать лет тому назад радио и во сне никому не снилось еще. Способы сообщения были еще сравнительно мало развиты, люди жили более оседло, чем теперь, тихо и мирно коротая свой век на том месте земного шара, где им свыше суждено было жить и умереть, довольствуясь тем, чем богат был родной город.

Провинциальные моды были очень устарелые, и наши модницы в своих роскошных новогодних туалетах, наверное, вызвали бы улыбку не только парижских дам, но и петербургских.

Дамы же, модницами себя не считавшие, одевались настолько по-домашнему, что на приглашениях на бал нужно было приписывать «просят быть в вечерних платьях», а то иначе они явились бы на бал в капоте.

Первым моим балом в Саратове, да и вообще первым моим «взрослым» балом, должен был быть костюмированный вечер, устраиваемый моей матерью с благотворительной целью. Для меня из Петербурга был выписан японский костюм, и перспектива этого вечера меня и моих подруг очень радовала. Бал назначили в конце января, но перед самым днем бала стали ползти какие-то зловещие слухи, и я помню, как на балу один молодой человек, глядя на мое кимоно, спросил меня:

– Скоро вы собираетесь объявить нам войну?

А 27 января война и разразилась. Стали собираться отряды Красного Креста, один за другим исчезали наши бальные кавалеры, организовывались работы на раненых. Но театр военных действий находился так далеко, настолько непонятно было русскому солдату, почему, куда и за что его посылают драться, что настоящего подъема, как тот, что мы потом видели в 1914 году, не было.

Я, только что прочитавшая «Войну и мир» Толстого, преисполненная патриотизма, недоумевала, почему это так, и навела на эту тему разговор с папа, на что он мне ответил:

– Как может мужик идти радостно в бой, защищая какую-то арендованную землю в неведомых ему краях? Грустна и тяжела война, не скрашенная жертвенным порывом.

Но пережили мы в Саратове один вечер, наполнивший нас таким энтузиазмом, что на всю жизнь остался у меня в душе глубокий след от пережитого тогда. Это был обед-проводы отряда Красного Креста, отправляющегося на фронт под управлением графа Д. А. Олсуфьева. Во время этого обеда, очень многолюдного, на который собралось все саратовское общество, мой отец встал и сказал речь.

Что это была за речь! Я вдруг почувствовала, что что-то капает мне на руку, и тогда лишь заметила, что я плачу: смотрю вокруг себя – у всех слезы на глазах. И чем дальше, чем вдохновеннее и страстнее становятся слова моего отца, тем больше разгораются лица и глаза слушателей, тем горячее льются слезы…

Многие уже громко рыдают. Забыто, что не за русскую землю дерется русский солдат, что далеки от наших домов поля, где многим суждено найти смерть, и куда спешат им на помощь и поддержку те, кого мы сегодня провожаем, и лишь ярко сияет одна вечная правда о том, что каждый сын России обязан, по зову

своего царя, встать на защиту Родины от всякого посягательства на величие и честь ее и что, забывая все на свете, обязаны спешить ему на помощь те, кто волей Божьей имеет счастье служить под Красным Крестом.

Никогда еще мне не приходилось слышать такое единодушие, такое продолжительное ура, как то, которое покрыло речь отца, и редко видишь столько людей, разных убеждений и характеров, соединенных таким общим, могучим подъемом.

Когда мы вечером возвращались домой, мама в карете сказала моему отцу:

– Как ты великолепно говорил!

На что папа ответил:

– Правда? Мне самому кажется, что сказал я не плохо. Не понимаю, как это вышло: я ведь всегда считал себя косноязычным и не решался произносить больших речей.

Слушая впоследствии ставшие знаменитыми речи папа, вспоминала я этот разговор.

Моя мать торжественно благословила Д. А. Олсуфьева иконой, проводили мы отряд на вокзал, и я, несмотря на мои горячие просьбы пустить и меня с уезжающими, осталась дома, так как мои родители не считали возможным позволить восемнадцатилетней девушке ехать в такую даль без близкого человека.

Глава V

Потекли однообразно-грустные дни: что ни день, то какое-нибудь тяжелое известие с театра военных действий.

С самого начала предательские взрывы наших лучших кораблей, гордости русского флота: «Цесаревича», «Ретвизана» и «Паллады». Через несколько дней гибель на собственных минах «Боярина» и «Енисея». Но с назначением адмирала Макарова командующим нашим флотом на Дальнем Востоке наполнились сердца надеждой. Ведь всем известно было его имя, все знали, как любил он своих подчиненных, как он популярен и каким влиянием пользуется. И в нашем далеком Саратове не было дома, где бы вы не нашли его изображения, его характерной умной головы с окладистой бородой и ясными глазами, невольно внушающими доверие в силу этого человека.

Но, видно, суждено было России в эти годы впервые почувствовать, что какая-то грозная туча повисла над ней, что настало время испытаний, что надломлена ее сила.

Помню день, когда дошла до нас весть о гибели «Петропавловска» и о том, что Россия потеряла Макарова. Это было так же тяжело, как если бы каждый из нас потерял близкого, любимого человека. Каким-то чудом спаслись с «Петропавловска» великий князь Кирилл Владимирович и несколько офицеров.

Великий князь стоял на мостике вместе с Макаровым. Взрывом его выбросило в море. Попав в водоворот, он был затянут под воду, но тут же выброшен на поверхность, где он, ухватившись за плавающий люк, продержался значительное время в четырехградусной воде, пока не спас его подошедший миноносец.

Описывая этот случай, невольно сопоставляешь его со вторым случаем, когда тоже чудом спасся великий князь Кирилл Владимирович. Было это уже во время мировой войны, в дни красного террора в Финляндии. Мой муж и я жили тогда на Иматре, и к нам часто приезжал проживавший в имении герцога Ольденбургского великий князь Георгий Михайлович. Он стремился соединиться со своей семьей, находившейся в Англии, но проезд через Торнео был немыслим, и великий князь выжидал, мучился и не знал, как ему поступить, но счел самым благоразумным ехать в Гельсингфорс и ждать там окончания событий. Он сообщал свои планы моему мужу и советовался с ним, уговаривая ехать вместе. Муж мой отговаривал великого князя от идеи ехать в Гельсингфорс, говоря, что уже носятся слухи о Белом Движении, что вероятнее всего двинется оно с

севера и поэтому благоразумнее выжидать движения поездов по только что построенной северной ж. д.

К сожалению, Георгий Михайлович не дал себя убедить и уехал в Гельсингфорс, где и поселился в гостинице. В это время матросы и солдаты постоянно обходили по ночам дома и гостиницы для проверки документов. У Георгия Михайловича имелся паспорт на вымышленное имя, выданный ему правительством Керенского, но имелся и настоящий для путешествия за границей. При каждом обыске великий князь показывал фиктивный паспорт, и все шло хорошо, пока как-то раз, разбуженный целой толпой солдат среди ночи, он, растерявшись, дал свой настоящий паспорт. Конечно, последовал немедленный арест. Но, взяв через некоторое время с него подписку о невыезде, его отпустили, и Георгий Михайлович вернулся в ту же гостиницу.

В той же гостинице наверху жил с семьей великий князь Кирилл Владимирович.

Узнав о всем происшедшем, преданные Георгию Михайловичу люди уговаривали его скрыться, но он категорически от этого отказался, сказав, что данное им слово свято и что он ни за что своего обещания не нарушит и не покинет Гельсингфорса.

Тогда граф А. Тышкевич, со слов которого я и знаю все описываемое, отыскал для великого князя комнату на краю города у какой-то старушки.

Не так легко было уговорить графу Тышкевичу Георгия Михайловича хотя бы осмотреть комнату, но когда он ее увидел, то пришел в такой восторг и от старушки, и от комнаты, что решил сразу туда переехать. Обрадованный этим, Тышкевич стал уговаривать великого князя остаться там сейчас же, обещая поехать за его вещами в гостиницу. На это Георгий Михайлович согласиться не пожелал, поехал назад в гостиницу и был там арестован, увезен и расстрелян. К жившему этажом выше великому князю Кириллу Владимировичу красноармейцы вообще не заходили, и он потом спокойно уехал за границу.

Но я сильно отвлеклась в сторону, забежав вперед на целых тринадцать лет. Вернемся к 1904 году, в Саратов, когда ни о революции, ни о красноармейцах не знали и не думали, но когда все большим отчаянием наполнялись сердца русских при известиях с фронта во время несчастной Японской войны.

Гибель «Петропавловска» была одним из тяжелых ударов. Громадный корабль, сотни молодых жизней, надежды, упования русских – все поглотило далекое, равнодушное море.

Это казалось тем более чудовищным, что ничем война не

давала себя знать у нас – ни лишениями, ни нарушением темпа жизни: жили мы, те, за которых страдали, боролись и умирали наши братья, так же буднично, сытно и спокойно, как и раньше.

Газеты открывались, хотя все еще с надеждой на счастливое известие, но с тревогой и страхом, и эти все снова обманутые надежды накладывали грустный отпечаток на все наши разговоры, на все мысли, на всю жизнь нашего глубокого тыла.

Конечно, часто случалось в те времена, как случается всегда, что газеты приносили нам неверные сведения, смущающие душу, сеющие недовольство и вносящие критическое отношение к нашим защитникам. Исподволь, незаметно и ловко велась подтачивающая силы народа агитация.

Одним из таких ложных сообщений было облетевшее всю Россию в первые дни войны известие о том, что в момент начала минной атаки 21 января большинство офицеров эскадры находилось на берегу, празднуя именины жены командующего Старка. Нечего говорить о том, насколько растлевающе действовало такое представление о жизни «защитников отечества» на широкую публику! Позднее была подробно раскрыта передо мной действительная картина происшедшего.

В день минной атаки старый клипер, еще парусный, но с паровой машиной «Джигит» шел в Порт-Артур, срочно вызванный из Китая вследствие осложнившихся отношений с Японией. Старенький клипер шел полным ходом, с заряженными старыми пушками. И, вероятно, за всю свою жизнь не развивал такого быстрого хода – 14 узлов! Это был его последний поход. По приходе в Порт-Артур, около 8 часов утра, сразу по подъеме флага, было получено распоряжение о запрещении эскадре иметь сообщение с берегом. Таким образом, ни одного офицера с эскадры фактически на берегу быть не могло. Все суда были выкрашены в боевой цвет и стояли под парами в полной боевой готовности. Днем был сигнал о назначении ночью учебной минной атаки, почему, лишь только наступил вечер, вся эскадра погрузилась во тьму. Ввиду того, что объявления войны не было, не могло быть предположения, что, вместо наших миноносцев, вышедших в море еще днем для учебной минной атаки, подойдут к крепости японские миноносцы и произведут атаку.

Этой атакой были сразу выведены из строя два лучших броненосца и крейсер.

Но главной трагедией оказалось то, что в Порт-Артуре новый док еще только строился, а существовавший был мал для броненосцев. Это сильно задержало ремонт.

У нас еженедельно собирались по вечерам дамы и барышни, желающие работать на раненых.

Приходили, конечно, и их мужья, братья и холостые наши знакомые. Дамы шили, мужчины играли в карты, причем весь выигрыш шел в пользу раненых. Потом ужинали. Вначале такие собрания были очень оживленными и даже веселыми, но чем дальше, тем молчаливее и грустнее становились и старые, и молодые. Не хотелось делиться тяжелыми мыслями, все уходили в себя.

Мой отец во время этих вечеров появлялся только минут на десять, раза два за вечер, и снова уходил к себе в кабинет. Для него, выражение лица которого за это время даже изменилось, дела губернии не то что уходили на второй план, но подергивались как будто траурной дымкой, и я видела, каких ему стоит усилий казаться всегда бодрым и полным надежды на счастливый исход этой несчастной войны. И, странно, чем более ясное представление они возбуждали в нас, тем роднее звучали сначала казавшиеся такими дикими названия и слова – будто те далекие места, где истекала кровью наша Родина, придвинулись к нам: Квантунь, Ляоян, Мукден… имена начальников наших врагов – Ноги, Того, Куроки – произносились теперь легко даже детьми и рождали представления о чем-то реальном.

При проезде генерала Куропаткина на фронт через Самару, папа ездил его туда приветствовать, как командующего армией. Вернувшись, отец рассказывал про вагон командующего, загроможденный стягами, иконами, блюдами с хлебом-солью, все подношениями провожавших его на войну. Когда Куропаткин при отходе поезда подошел к окну вагона, чтобы проститься с народом, собравшимся на вокзале, вдруг среди торжественной тишины из толпы выскочил мужичок и прямо в лицо крикнул генералу:

– Смотри, не подгадь!

Рассказывая об этом комическом инциденте, папа прибавил:

– Трудно сказать, от души ли говорил крестьянин, не умея просто облечь свои пожелания успеха в менее комичную форму, или в сердце его уже вкрались сомнения, так усердно сеемые революционерами в народе.

Боевые кадры левых партий все стягивались, как уже было сказано, в губерниях Саратовской и Пензенской, где демократические партии, обладая крупными денежными средствами, щедро тратили их на издание своих газет и разбрасывание прокламаций. Уверенность народа в победе России переплеталась с уверенностью левых кругов, пророчествовавших победу Японии и нашептывающих народу, что война ведется для поддержки жадных капиталистов, захвативших концессию на реке Ялу, что эта война не народная и не за правду.

Но все же на Куропаткина надеялись, следили по газетам за его дорогой, повторяли слова его речей, умилялись трогательным встречам, устраиваемым ему в селах и городах.

Глава VI

С войной наступило для папа еще более трудное время. Его задачей стало теперь объединение административного аппарата, в рядах которого было очень далеко до единомыслия в политическом отношении. Занимающий видный пост управляющего отделением Крестьянского банка Зерен убеждал крестьян, что им нечего покупать земли у помещиков, так как все равно земля скоро будет вся принадлежать народу. Прокурор судебной палаты Макаров явно и не стесняясь выражал свое враждебное отношение к моему отцу.

Мой отец принял за правило ограничиваться с такими господами личными беседами, стараясь силой убеждения признать его точку зрения правильной. Насколько умна и действительна была эта простая тактика, свидетельствует тот факт, что будучи уже премьером, папа не кому иному, как бывшему революционеру Макарову предложил пост товарища министра и умело направил его на верный служебный путь.

Весной началась осада Порт-Артура. Все сердца забились сильнее, все взоры обратились туда, где наши защитники геройски выносили нечеловеческие страдания, отстаивая честь своей Родины.

Осада была полная. Ведь ни с одной стороны не было сношения с внешним миром, что было даже во время знаменитой осады Севастополя, где с севера была возможность сообщаться со своими войсками.

Это была последняя осажденная крепость: вскоре после Японской войны появился радиотелеграф, действующий на далекое расстояние, а затем аэропланы, и, таким образом, осады, подобной артурской, больше быть не может. Участники мировой войны уже не знают, что значит сидеть, месяцами отрезанными от всего мира и питаясь одними бобами в уксусе.

Газеты, конечно, брались нарасхват, читались на улице, в богатых и бедных домах, в нарядных ресторанах, чайных и пивных. Мой учитель рисования воспользовался этим, чтобы получать интересные модели, да еще даром. Он приклеивал в своей квартире к окну последнюю газету, и немедленно собирался народ, жадно читая новости, а он сидел и спешно зарисовывал интересные типы.

Ранней весной мы поехали в Колноберже, и вскоре меня отправили с м-ль Сандо опять в Эльстер, а по окончании курса лечения я встретилась с папа в Вене. Помню, как мы подъезжали к Венскому вокзалу, где нас встречал папа. Он сидел на скамейке

рядом с носильщиком и так оживленно с ним беседовал, что оба еле-еле успели подбежать к подходившему поезду.

М-ль Сандо поехала одна домой, а мы остались на неделю в Вене.

От элегантной, веселой Вены с ее чудесными памятниками старины и чудной оперой мой отец остался в восторге. Мы без устали осматривали город и почти все вечера провели в опере, которой мой отец, несмотря на свою немузыкальность, так увлекся, что весь день предвкушал удовольствие вечером снова услышать дивную музыку Вагнера в исключительном исполнении Венского оперного оркестра.

После нескольких дней пребывания в Вене Берлин отошел для папа на задний план, не выдерживая, по его словам, сравнения с величественной, легкой и грациозной красотой столицы Австро-Венгрии.

Отравляло весь отдых и всю прелесть путешествия чтение газет с известиями о ходе военных действий. Каждый разговор с иностранцами был для нас, русских, очень тяжел.

В это же время пришло известие об убийстве министра внутренних дел Плеве. В эти дни, когда, казалось бы, все русские должны были забыть свою внутреннюю вражду и раздоры перед лицом врага, это известие произвело на папа исключительно тяжелое впечатление.

Глава VII

В октябре мы вернулись в Саратов. Настроение там все ухудшалось… Старались разобраться в причинах наших неудач и говорили о том, насколько была не готова наша Маньчжурская армия, подвоз пополнений для которой производился по одноколейной железной дороге, тогда как японцы имели возможность высадить в продолжение нескольких месяцев всю свою армию на материк. Говорили теперь о том, как сильны японцы, как этот маленький народ, к которому мы в начале войны относились столь свысока, усвоил все достижения нашей культуры и как мастерски он умеет пользоваться тем, что перенял.

22 декабря громом прокатилась весть о падении Порт-Артура. Этим ударом была потушена последняя искра надежды, теплящаяся в русских сердцах. Не было больше сил бороться с охватывающим всех безнадежным унынием. И в высших и в низших слоях населения впечатление было одинаково сильно, с той только разницей, что у первых печаль о происшедшем не исключала надежды на то, что можно, перенеся удар, оправиться, окрепнуть и снова, подняв голову, работать на то, чтобы Россия заняла подобающее ей в мире место. В низших же классах безотчетное разочарование часто рождало озлобление и желание на ком-нибудь выместить обиду, сорвать злость.

Становилось ясно каждому, что предсказания революционеров сбываются и приближается поражение России.

Настроение не только в самом городе, но и во всей губернии становилось все тревожнее. Этому способствовали некоторые замлевладельцы совсем особого толка. Часть из них – Устинов, доктор Власов и еще некоторые, были упорными социалистами, другие более правого толка, жертвовали все же крупные суммы на революционную пропаганду. Борьба с ними особенно затруднялась тем обстоятельством, что жандармское управление не обладало нужным количеством толковых агентов на местах.

В таком настроении Россия встретила 1905 год. Недолго заставили себя ждать признаки наступающей смуты. Первым тяжелым впечатлением было известие о том, как на Крещенском параде в Петербурге, во время водосвятия в высочайшем присутствии, одна из пушек, производившая салют, оказалась заряженной шрапнелью. Взрыв произошел совсем близко от государя.

Пусть это была оплошность, но оплошность настолько необъяснимая, что случай этот впоследствии стал представляться

прелюдией к началу враждебных действий против правительства.

Через несколько дней после этого собралась перед Зимним дворцом толпа рабочих во главе с священником Гапоном, предъявившая ряд крайних требований. Для разгона толпы войска пустили в ход огнестрельное оружие. А через несколько недель в Москве был убит московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович.

Начиналась новая эра – эра открытой борьбы против императорской фамилии.

Наступило тяжелое время, когда мы узнали, что значит беспокоиться день и ночь о жизни папа. Чувство это не покидало нас уже больше до его кончины.

В Саратове в то время я то и дело бегала в переднюю посмотреть, висит ли там пальто папа, и только удостоверившись, что он дома, в безопасности, могла спокойно заниматься своими делами.

Саратовская губерния, особенно ее Балашовский уезд, издавна славилась левыми буйными элементами. Видно, дух Стеньки Разина не покинул привольных волжских берегов. Либеральные представители земства стали открыто выступать против мероприятий правительства. Мой отец много положил сил, чтобы не дать чувству злобы и вражды, все более овладевающему земскими деятелями и их приверженцами, разрастаться и парализовать всякую возможность совместной работы. Все силы своего ума и энергии клал он на то, чтобы не дать общественной работе ослабевать под влиянием деморализующих сил, порожденных затянувшейся несчастной войной.

И не только в политической жизни страны, но и в общественной стало проявляться раздвоение. Левые элементы стали держать себя в высшей степени вызывающе-враждебно. Помню концерт, с которого, когда вошел в залу мой отец, демонстративно, с шумом отодвигая стулья, вышли несколько левых членов земства с семьями. На общественных балах сплошь да рядом случалось, что всякие молодые люди и девицы из левых кругов, проходя мимо мама или меня, не только не сторонились, но наоборот, с задорным видом старались задеть, толкнуть. Наряду с этими незначительными фактами, стали вносить мрачную ноту в нашу жизнь и более серьезные симптомы назревавшей революции: начались забастовки – то не горит электричество, то бастуют пекаря, то еще где-нибудь бросают рабочие работу.

В стремлении соединить враждебные элементы мой отец устроил этой зимой банкет человек на шестьдесят земцев. Это

было весьма интересное собрание: безупречные фраки представителей высшей земельной аристократии чередовались с крестьянскими поддевками и между ними – все разнообразие других мужских костюмов. То же разнообразие, что и во внешнем виде, царило и в умах, настроениях и политических убеждениях присутствующих. Хотя речи лились непринужденно, хотя любезно беседовали друг с другом политические противники и казалось возможным найти общий язык, сойтись на общих идеалах, но лишь только те же люди сходились на земских собраниях, всем становилось ясно, что слишком глубока рознь между людьми разных направлений и что, чем дальше, тем глубже будет становиться эта рознь.

Для меня зима эта ознаменовалась тем, что я к Рождеству была сделана фрейлиной. Эта монаршая милость очень обрадовала моего отца, я же с гордостью показывала подругам присланный мне из Петербурга бриллиантовый шифр «М. А.» на голубой Андреевской ленте и мечтала о том дне, когда, надев его на левое плечо, я буду представляться императрицам.

Глава VIII

В мае пришло известие о поражении нашего флота в Цусимском проливе. Не выразить словами, как были этим удручены и молодые, и старики.

Летом в Колноберже стали приходить от моего отца тревожные письма. Неудачи на фронте раздували недовольство в тылу, народ волновался все больше, а мы, живя в такой дали от папа, следя за ходом событий по его письмам и газетам, ужасно за него беспокоились.

Скоро наши предчувствия оправдались: мы узнали из письма папа, что на его жизнь было покушение.

Во время объезда губернии, где-то в деревне были произведены по моему отцу два выстрела. И папа, и сопровождающие его чиновники видели убегающего преступника. Папа кинулся за ним, но был удержан своим чиновником особых поручений, князем Оболенским, силой схватившим его за руку.

Папа сам, описывая этот случай, старался успокоить мою мать, говоря, что это одиночный случай, что бояться нечего, что все гораздо спокойнее, чем описывают в газетах, и, главное, что он сам скоро будет с нами.

Ненадолго приехал к нам папа. Он на этот раз не воспользовался и половиной отпуска, как выехал снова в Саратов.

Когда мы провожали папа на станцию, то встретили спешившего к нам верхом нашего лесника, который, махая фуражкой, просил остановиться. Когда мы, очень удивленные, остановились, он подъехал и с сияющим лицом доложил:

– Только что в Кейданском имении граф Тотлебен собрал своих рабочих и прочел им телеграмму о том, что заключен мир.

У папа все лицо изменилось от осветившей его радости. Он снял шляпу, перекрестился и, поцеловав мама и меня, сказал:

– Какое счастье!

В Саратов, как в губернию, сильно зараженную мятежным духом, был в это время высочайше командирован генерал-адъютант Сахаров для подавления беспорядков. Он остановился, по приглашению папа, у нас в доме. Мы знали об ожидающемся его приезде из писем моего отца, который, хотя и не был доволен вмешательством в дела губернии чужого лица, очень хорошо отзывался о самом Сахарове. Моему отцу, всегда с таким пренебрежением отзывавшемуся о людях, боящихся ответственности, не было тяжело распоряжаться делами губернии единолично.

Когда мы выезжали из Колноберже в Саратов, Сахаров был

уже там. На третьи сутки, когда подъезжали мы к Саратову, неожиданно, за несколько станций до конечной остановки, входит в наш вагон один из чиновников особых поручений моего отца и говорит, что он прислан встретить нас. Очень этим удивленная, мама просит его к себе в купе, из которого через несколько минут выходит бледная и сильно взволнованная. Оказывается, генерал Сахаров накануне убит в нашем доме, и папа послал предупредить мама, чтобы она не узнала об этой трагедии из газет и чтобы успокоить ее, сказать, что он сам цел и невредим.

Можно себе представить чувство, с которым мы въезжали в дом, откуда за два часа до того вынесли тело убитого и в комнатах которого запах ладана красноречиво напоминал о панихидах.

Подробности этого убийства были следующие. Кабинет генерала был устроен во втором этаже, в комнате по левую сторону от приемной, отделяющей его от кабинета папа. Явилась на утренний прием миловидная, скромная молодая женщина, пожелавшая видеть генерала Сахарова. В руках она держала прошение. Чиновник ввел ее в комнату. Закрывая дверь, он еще видел, как просительница положила бумагу перед Сахаровым.

Через минуту раздался выстрел, и Сахаров, обливаясь кровью, выбежал, шатаясь, в другую дверь. В дверях силы его покинули, и он свалился на пол. Бросившаяся бежать убийца была на лестнице задержана чиновником особых поручений, князем Оболенским. Поданная ею бумага – прошение – заключала в себе смертный приговор убитому генералу.

Как плохо работала в Саратове жандармская охрана, доказывает следующий факт: до убийства генерала Сахарова явились ночью к моему отцу рабочие с предупреждением, что из Пензы приехали террористы с целью убить Сахарова. Вызванный моим отцом жандармский полковник заявил:

– Позвольте, нам знать лучше, чего хотят эти люди. Они хотят совсем другого, генерал же им вовсе не страшен.

А о том, до чего революционно была настроена часть общества, можно судить по тому, что присяжный поверенный Масленников прислал в тюрьму арестованной убийце генерала Сахарова цветы.

Глава IX

Когда мы все немного успокоились после убийства генерала Сахарова, папа рассказал нам о всем пережитом со времени отъезда его из Колноберже.

Путешествие до Саратова было крайне тревожно. Доехав до Москвы, папа, к своему ужасу, узнал, что все железные дороги забастовали. В крайнем волнении за благополучие Саратовской губернии, мой отец стал искать выхода из положения и, к счастью, ему удалось каким-то образом добраться до Волги, по которой до самого Саратова не было нарушено правильное пароходное сообщение. По дороге только и было слышно, что о беспорядках по всей России. Весть о мире, какими бы выгодными ни показались сначала его условия, воспринималась народом, видящим в нем знак нашего поражения, крайне враждебно. Началась работа темных сил, людей, учитывавших благоприятный момент для возбуждения народа против власти.

Чем ближе к Саратову, тем более зловещие ползли слухи о происходящем там. Народные бунты в деревнях усиливаются, крестьяне жгут имения помещиков, уничтожают все, что попадается им под руку: библиотеки, картины, фарфор, старинную мебель и даже скот и урожай. Почти никогда крестьяне ничего не крадут, но ярким пламенем горят помещичьи дома, скотные дворы, сараи, амбары. Рубят в щепки, топчут ногами, ломают и рвут все, что владельцы, в надежде спасти хоть крохи своего имущества, выносят из горящих домов.

До возвращения моего отца в Саратов положение в городе было угрожающее. Войска спокойно жили в казармах, не принимая участья в подавлении смуты. А происходило, как было доложено моему отцу, следующее: за два дня до его возвращения собралась на театральной площади огромная толпа народа, ежеминутно можно было ожидать кровавых столкновений.

Городской голова Немировский скрылся в доме архиепископа. Толпа направилась громить этот дом, но остановилась перед запертыми воротами высокого каменного забора. Перед воротами стоял одиноко, как полотно бледный городовой. Правые, хотя и малочисленные в это время, быстро успели сорганизоваться и двинулись громить квартиры видных вожаков левых, которые на этот раз поспешили выставить в своих окнах иконы.

Один из правых двинулся в толпу, собравшуюся перед домом владыки: он понял сразу, что возбужденный народ нельзя отвлечь от стремления к достижению намеченной цели, но можно,

сохраняя эту цель, направить толпу к более легкому ее достижению. Вот этот, знающий психологию толпы, человек обратился к ней со словами:

– Что вы ломитесь в запертые двери, когда так легко обойти усадьбу, зайти в дом с другой стороны?

Толпа кинулась в указанную сторону, столкнулась там с засадой правых и разбежалась.

Легко себе представить волнение папа, узнавшего по дороге обо всем происходящем в его губернии.

Прямо с парохода он, в сопровождении полиции, отправился пешком к центру беспорядков, на Театральную площадь. По мере того как он приближался к старому городу, стали попадаться все более возбужденные кучки народа, все недоброжелательнее звучали крики, встречающие папа, спокойным, ровным шагом проходящего через ряды собравшихся. Поблизости от места митинга из окна третьего этажа прямо к ногам моего отца упала бомба. Несколько человек около него было убито, он же остался невредим, и через минуту после взрыва толпа услыхала спокойный голос моего отца:

– Разойдитесь по домам и надейтесь на власть, вас оберегающую.

Под влиянием его хладнокровия и силы страсти улеглись, толпа рассеялась, и город сразу принял мирный вид.

Конечно, спокойствие это продолжалось недолго. Левые понимали, насколько благоприятен для них момент, и делали все, что было в их силах, чтобы зажечь огонь восстания в Саратовской и Пензенской губерниях и этим воспламенить всю Россию. А дальше им мерещилась наша Родина без царя, без правительства его, Россия, перестроенная ими по-своему.

С целью поддерживания мятежного духа в народе левые партии устраивали одну демонстрацию за другой, один митинг за другим.

С прибытием папа в Саратов приверженцы порядка, благодаря выявленному моим отцом спокойствию и уверенности, приободрились, поняли, что нельзя ожидать событий, сложа руки.

Правые сорганизовались и собрали около 80.000 рублей для борьбы с левыми. Закипела планомерная работа. Саратов разделили на три части, открыли народные клубы с библиотеками, кассами взаимопомощи, бесплатною медицинской помощью. В клубах давались спектакли. Около клубов образовались ячейки со старшинами во главе, и через них направлялась вся работа правых организаций. Нашлись талантливые, деятельные люди и хорошие ораторы, положившие много труда на эту работу, как, например, граф Д. А. Олсуфьев,

представитель Нобеля – Иванов, граф Уваров.

Во главе церковного управления стоял епископ Гермоген, умевший привлечь бедноту. Народ переполнял собор, не уставая слушать богослужения по три, четыре часа подряд. В зале консерватории выступал выдающийся священник отец Четвериков, на лекции которого стекалось много народа – не только правых партий, но и левых. После одной из таких лекций один из видных социал-революционеров Архангельский сказал князю Кропоткину:

– Если бы у вас были все попы, как этот Четвериков, то и нас бы не было.

Теперь, когда революционеры устраивали демонстрации и шествия, они встречали организованный отпор. Происходило это таким образом.

Идет по улицам толпа левых – в левой руке у каждого палка, в правой револьвер, навстречу им выходят правые. Движутся они правильными рядами, спереди самые отборные, сильные, во втором ряду у каждого в руках корзинка с булыжниками. Задние передают булыжники в корзины средних, последние передают их передним, которые и кидают их в противника. Революционеры под градом камней начинали беспорядочную стрельбу и разбегались.

Положение в городе понемногу становилось спокойнее. Работали вместе правительственный и общественный аппарат. Войсками старался папа не пользоваться.

Но не то было в деревнях, где крестьянство было разбито на патриотически настроенных и на распропагандированных, причем справа не было энергичных руководителей, а слева имелись вожаки в изобилии, весьма дисциплинированные и решительные.

Погромы усадеб продолжались. Проезжая по железной дороге через Саратовскую губернию, можно было видеть в окна вагона ровную степь, освещенную, как горящими факелами, подожженными усадьбами. И какова ирония судьбы: первой из разгромленных усадеб была усадьба того помещика-либерала, который жертвовал крупные суммы на субсидирование левых газет! Когда грянула беда, этот идеолог-либерал просил моего отца прислать войска для водворения порядка. Но папа решительно не посылал воинских частей в деревню, хорошо понимая, что пока губернская власть спокойно выполняет свои обязанности, не может революция восторжествовать. Он считал бесцельным и неразумным утомлять войска передвижениями по губернии от одного погрома к другому и полагал, что это может лишь привести к ослаблению центральной власти.

Папа считал, что главной задачей является оберегание государственно-административного аппарата в его целости, что только это может спасти Россию. Усадеб не так много, погромы их долго продолжаться не могут.

– Не в крупном землевладении сила России, – говорил отец. – Большие имения отжили свой век. Их, как бездоходные, уже сами владельцы начали продавать Крестьянскому банку. Опора России не в них, а в царе.

Папа считал, что Россию переустроить нужно, что надлежит вытравить традиции крепостного права, заменить общину единоличным крестьянским землевладением.

К тому же бунты в деревне принимали часто такие уродливые формы, что мой отец полагал, что этим самым они оттолкнут от революционеров не потерявших рассудок крестьян. Трудно было крестьянскому сердцу остаться хладнокровным при виде коров, лошадей и овец с распоротыми животами, ревущих от боли и издыхающих тут же в ужасных страданиях.

Не мог также здравый крестьянский ум не понять всего комизма таких выступлений, как выступление одного ветеринарного врача, который, ведя своих единомышленников громить усадьбу помещика, оделся в костюм времен Иоанна Грозного с бармами на плечах и шапкой Мономаха на голове!

Во многих местах крестьяне, действительно, очень скоро образумились и стали часто просить правых приезжать на их собрания, что, конечно, и делалось.

Глава X

Мой отец, со своей стороны, стал все чаще и чаще предпринимать поездки по губернии, являясь самолично и почти всегда неожиданно в местах, где сильнее всего бурлило недовольство и где энергичнее всего работали вожаки левых партий. Он безоружным входил в бушующую толпу, и почти всегда одно появление его, спокойный и строгий его вид так действовали на народ, что страсти сами собой утихали, и за минуту до того галдевшая и скандалившая толпа расходилась, успокоенная, по домам. Речи его были кратки, сильны и понятны самому простому рабочему и крестьянину, и действовали они на разгоряченные умы отрезвляюще. Но что ему самому стоило все это, – того не знал, должно быть, никто. Я помню, как он писал мама после одной из опасных поездок в центр смуты, Балашов:

– Теперь я узнал, что значит истерический клубок в горле, сжимающий его и мешающий говорить, и понял, какая воля требуется, чтобы при этом не дать дрогнуть ни единому мускулу лица, не поднять голоса выше желательного диапазона.

Один раз папа увидел, как стоящий перед ним человек вдруг вынул из кармана револьвер и направил на него. Папа, глядя на него в упор, распахнул пальто и перед взбунтовавшейся толпой сказал:

– Стреляй!

Революционер опустил руку, и револьвер вывалился у него из рук.

Другой раз, садясь в коляску, после того как он произнес в большом революционном сборище речь, мой отец заметил на себе взгляд какого-то парня, стоящего близко к нему. Парень имел вид самый наглый и задорный, а взгляд был полон тупой, непримиримой ненависти. Папа, посмотрев на него, коротко и властно сказал:

– Подай мне пальто!

И этот человек, только что мечтавший о том, как бы побольше зла нанести ненавистному губернатору, послушно взял пальто из рук курьера и подал его папа.

У меня хранится любительский снимок, где видно, как папа въезжает верхом в толпу, за минуту до этого бушевавшую, а теперь всю до последнего человека стоящую на коленях. Она, эта огромная десятитысячная толпа, опустилась на колени при первых словах, которые папа успел произнести.

Был и такой случай, когда слушавшие папа бунтари потребовали священника и хоругви и тут же отслужили молебен.

А в одну из таких поездок папа прибыл на поезде и прямо из вагона пошел пешком в село, где его ожидал народ. Из толпы выделился какой-то парень с крайне возбужденным и далеко не доброжелательным видом и направился прямо на моего отца. Сначала он шел нерешительно, но когда увидал, что отец идет совсем один, без полиции, он нагло поднял голову и, глядя прямо в лицо отца, собирался говорить, как вдруг услыхал спокойный и повелительный голос отца:

– Подержи мою шинель!

И этот человек, давно мечтавший о том, как бы побольше зла нанести моему отцу, послушно взял шинель и так и простоял, держа ее на руках все время, пока мой отец говорил речь.

Папа понимал, что в это тревожное время надо ему одному приезжать к народу, который он любил и уважал. Надо говорить с ним без посредников, что тогда только народ, почувствовав инстинктом искренность его слов, поймет его и поверит ему. И крестьяне, действительно, внимательно и благожелательно слушали его подчас суровые, но всегда правдивые слова.

Достигал результатов отец без громких фраз, угроз и криков, а больше всего обаянием своей личности: в глазах его, во всей его фигуре ярко выражалась глубокая вера в правоту своей точки зрения, идеалов и идеи, которой он служил.

Красной нитью в его речах проходила мысль: «Не в погромах дело, а в царе, без царя вы все будете нищими, а мы все будем бесправны!»

К самому концу 1905 года папа все же решился силой прекратить разгул погромщиков и этим окончательно водворить порядок. Он запретил собрание левых в театре, и когда они все же хотели настоять на своем, то встретились с войсками, перед которыми должны были отступить, хотя войска и не стреляли.

Даже частную жизнь моего отца стали отравлять его политические враги.

Получались анонимные письма с угрозами, что если не будет исполнено такое-то требование революционеров, то мой маленький брат будет отравлен. Понятно, что как ни были мы уверены во всей прислуге, у моих родителей все же каждый раз, когда приносили для маленького его кашу или котлету, являлось тяжелое чувство подозрения и недоверия, заставлявшие их принимать всевозможные меры предосторожности.

Этой зимой моим кумиром стал почему-то Витте. Я преклонялась перед его умом и восхищалась, как можно лишь восхищаться в двадцать лет, всеми его мероприятиями, проектами, его словами… Раз, когда я сказала папа целую тираду в этом духе, он мне ответил:

– Да, человек он очень умный и достаточно сильный, чтобы спасти Россию, которую думаю, можно еще удержать на краю пропасти. Но, боюсь, что он этого не сделает, так как, насколько я его понял, это человек, думающий больше всего о себе, а потом уже о Родине. Родина же требует себе служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу.

Часть третья

Глава I

В конце апреля 1906 года мой отец телеграммой председателя Совета министров Горемыкина получил распоряжение выехать в Петербург. В первый же день приезда он был вызван в Царское Село.

Государь встретил папа весьма милостиво и сказал, что он давно следит за его деятельностью в Саратове и, считая его исключительно выдающимся администратором, назначает министром внутренних дел.

Мой отец, по присущей ему скромности не ожидавший такого назначения, был этим предложением сильно удивлен и озадачен. Он считал, что несколько месяцев губернаторства в Гродне и три года в Саратове не являются достаточной подготовкой к управлению всей внутренней жизнью России, да еще в такое тревожное время, о чем и доложил государю и просил, хотя бы временно, в виде подготовки, назначить его товарищем министра.

На это государь ответил:

– Петр Аркадьевич, я вас очень прошу принять этот пост.

– Ваше величество, не могу, это было бы против моей совести.

– Тогда я вам это приказываю.

Моему отцу ничего не оставалось, как преклониться перед выраженной в такой форме волей своего государя, и он вернулся в Саратов лишь на очень короткое время, чтобы сдать дела губернии.

27 апреля, на следующий день после высочайшего приказа о назначении папа министром внутренних дел, состоялось торжественное открытие Государственной думы, на котором мой отец присутствовал.

В это время в Саратове только и было разговоров о «первом русском парламенте». Решение государя собрать лучших людей России, дабы они в тяжелую годину помогли своим советом и помощью правительству удовлетворить, по мере возможности, разумные требования народа и восстановить таким образом в стране мир и порядок – решение это было встречено почти всеми с большим удовлетворением – одни представители крайних направлений (как правого, так и левого) были недовольны и пророчили всякие бедствия.

Помню хорошо рассказ папа о том, какое удивительное зрелище являл собой Георгиевский тронный зал в достопамятный день, когда государь лично, в самой торжественной обстановке, с высоты трона, открыл речью первую Государственную думу. Блеск мундиров придворных чинов с одной стороны зала и более чем

скромные, даже в большом количестве умышленно будничные костюмы депутатов с другой стороны представляли такой разительный контраст, что невольно рождалось в душе сомнение: сумеют ли люди, настолько отличающиеся друг от друга своим внешним обликом, найти общий язык при обсуждении общего дела?

Опасения эти оказались более чем обоснованными, в чем убедились и самые ярые оптимисты, когда уже 29 апреля стали раздаваться с думской трибуны речи, обсуждающие ответный адрес государю. Требовали отмены смертной казни, требовали отчуждения частновладельческих земель, упразднения Государственного Совета, отставки правительства и многое другое.

Мой отец старался бодро смотреть на будущее, хотя отлично понимал, какую опасность кроет в себе вылившееся в такую форму народное представительство в России. Читая о том, в какую позицию по отношению к правительству поставили себя с первых же шагов левые депутаты, он становился все озабоченнее.

Начались у нас в Саратове сборы, прощания и проводы. Оказалось, что в столь не полюбившемся мне вначале Саратове мы оставляем много ставших нам близкими людей, и на сердце становилось грустно.

Еще один период жизни кончился, еще разлука с друзьями.

На вокзале было столько провожающих, что без полиции, расчищавшей дорогу, было не пройти.

Человек двенадцать самых близких друзей проехали с нами несколько станций – кто до ближайшей, кто подальше. Когда же нас покинул последний саратовец, стало грустно и пусто в нашем салон-вагоне, и на душе тоже не было весело. Первое лето в жизни не в Колноберже – уж одного этого сознания достаточно, чтобы впасть в уныние, а тут еще гнетущее чувство, что папа будет подвергаться еще большим опасностям, что еще сильнее придется бояться за его жизнь.

Глава II

Вся наша мебель была послана в Петербург в казенную квартиру министра внутренних дел на Мойке, а мы сами должны были поселиться на казенной даче на Аптекарском острове. И надо сознаться, что все мои самые мрачные представления о жизни летом в городе, хотя бы и на даче, оправдались вполне.

Дача эта – двухэтажная, деревянная, вместительная и скорее уютная, произвела на меня сразу впечатление тюрьмы. Происходило это, должно быть, оттого, что примыкающий к ней довольно большой сад был окружен высоким и глухим деревянным забором. Были в нем две оранжереи, были лужайки, большие тенистые липы, аллеи и цветы, но каким все это казалось жалким после деревенского простора. Каким лишенным воздуха и свободы!

На даче нас встретили казенные курьеры, швейцары и лакеи, незнакомые, официальные и кажущиеся хладнокровными и враждебными, и так было приятно, когда встретишь между ними Казимира и Франюка, которого еще мальчиком вывезли из Колноберже и который теперь, ставши взрослым, превратился в Франца. Хотя и они заменили, подражая казенным лакеям, старое дружелюбно-патриархальное обращение к папа и мама «Петр Аркадьевич и Ольга Борисовна» строго официальным «ваше высокопревосходительство»; но, произнесенные нараспев Казимиром, и эти слова не звучали так холодно, как в устах казенных лакеев, с каменными лицами вытягивающихся в струнку. А Франц, помогая вместе с одним из министерских лакеев моему отцу одеваться к какому-то официальному приему, на суетливый вопрос своего нового коллеги: «Где лента его Высокопревосходительства? Лента где?» – обиженно ответил: – «Никакой ленты у нас нет, Петр Аркадьевич не генерал».

Привыкший к службе у старых сановников, лакей не мог себе представить, что папа, самый молодой из министров, был в таком маленьком чине, что не имел даже орденской ленты.

Мне лично до того все не нравилось на Аптекарском, до того одолевала тоска по родине, по Колноберже, что все кругом окрашивалось в мрачные краски, и я не могу беспристрастно судить и говорить об этом времени.

Старалась я продолжать изучение истории, но книга валилась из рук. Из рисованья тоже ничего путного не выходило; друзей не было; гулять одной, кроме как в нашем саду – тюрьме, запрещалось.

Прямо за нашим садом была церковь. Эту церковь, похожую

на деревенскую, я полюбила и ходила туда к каждой обедне. Это было так близко, что мне позволено было ходить туда одной. Проходила я туда прямо через заднюю садовую калитку.

Один раз, когда я после службы направилась к этой калитке и уже взялась за ее ручку, останавливает меня полицейский со строгим окриком: «Куда?» Я спокойно отвечаю: «Домой». Он еще сердитее: «Куда домой?». – «На дачу моих родителей». – «Так мы вам и поверим, что вы дочь министра, пожалуйте за мной». Подоспел, очевидно, почуяв важную преступницу, второй полицейский и кругом марш! – ведут меня в участок.

Показавшаяся мне сначала очень забавной, вся эта история перестала меня веселить, когда мне пришлось (положим, недалеко) пройтись под эскортом полиции по улицам. А когда меня ввели в какую-то очень неуютную комнату с канцелярскими столами, наполненную разными лицами в полицейской форме, вид у меня, думаю, был довольно жалкий и растерянный. Но тут какой-то офицер, по-видимому, начальник присутствующих, узнал меня, вскочил, подбежал ко мне, извинился за излишнее рвение своих подчиненных и проводил меня до нашего сада.

Когда я за завтраком рассказала папа о пережитом мною волнении, он очень смеялся и, казалось, был доволен тем, что его охрана работает так добросовестно.

Сам Петербург меня с первого дня очень разочаровал: мрачным, ненарядным, недостаточно «европейским» показался он мне после Берлина и Вены, а вместе с тем не было в нем и восточного великолепия Москвы.

Лишь позднее оценила я красоту нашей столицы: «Невы державное теченье», сказочно легкие очертания Петропавловской крепости в морозном тумане вечерних петербургских сумерок.

Но мы летом редко и бывали в городе, лишь изредка ездили мы туда с мама за покупками или в Думу, когда должен был говорить папа. Как ни далек от деревни был наш Аптекарский остров, но все-таки всегда приятно было вернуться на набережную Невки, обсаженную деревьями, где находилась наша дача: как-никак, там была зелень и хоть «дачная», но все-таки природа. К тому же не всегда и бывали приятны эти поездки. Помню я, как раз когда мы проезжали в коляске с мама по одной из улиц островов, по дороге в город, до нас отчетливо долетели слова каких-то стоявших там парней, злобно нас оглядывающих: «Хороша колясочка, нам она скоро на баррикады очень даже хорошо пригодится». Сказано это было вызывающе громко.

Глава III

Первое посещение Государственной думы произвело на меня неизгладимое впечатление. Столько мне рассказывал про наш «парламент» мой учитель истории в Саратове, восторженно описывая это собрание мудрых, проникнутых самыми высокими идеалами людей, горящих желанием самоотверженно работать на благо родины. И когда я в газетах читала отчеты заседаний Государственной думы, мне слышались спокойные, умные речи, рисовались вдумчивые лица, серьезные, взвешивающие каждое слово люди, знающие, что их речам суждено разнестись потом по всей России. И седовласый председатель думы Муромцев представлялся мне каким-то полубогом, отрешившимся от всего мирского.

Каковы же были удивление и ужас мои, когда я увидала, до чего мало общего между нашей Государственной думой и афинским ареопагом, как я себе его представляла.

А как забилось сердце, когда я в первый раз увидала моего отца, всходящего на трибуну! Ясно раздались в огромной зале его слова, каждое из которых отчетливо доходило до меня. Да, папа отвечал моему представлению – он был поразительно серьезен и спокоен. Лицо его почти можно было назвать вдохновенным, и каждое слово его было полно глубоким убеждением в правоте того, что он говорит. Свободно, убедительно и ясно лилась его речь.

За короткое время своего существования первая Государственная дума закидывала правительство запросами, вперемежку с которыми занималась разработкой самых крайних предложений. Обсуждались все те же вопросы об общей амнистии, об отнятии земли у помещиков, об отмене смертной казни…

Недолго дали говорить моему отцу спокойно: только в самом начале его речи все было тихо, но вот понемногу на левых скамьях начинается движение и волнение, депутаты переглядываются, перешептываются. Потом говорят громче, лица краснеют, раздаются возгласы, прерывающие речь. Возгласы становятся все громче, то и дело раздается «в отставку», все настойчивее звонит колокольчик председателя. Скоро возгласы превращаются в сплошной рев. Папа все стоит на трибуне, и лишь изредка долетает до слуха, между криками, какое-нибудь слово из его речи. Депутаты на левых скамьях встали, кричат что-то с искаженными, злобными лицами, свистят, стучат ногами и крышками пюпитров… Невозмутимо смотрит папа на это

бушующее море голов под собой, слушает несвязные, дикие крики, на каждом слове прерывающие его, и так же спокойно спускается с трибуны и возвращается на свое место.

Совершенно ошеломленная, не веря глазам и ушам, встала я и глядела вниз в залу. Не менее меня была взволнована и вся остальная публика и, как в чаду, покинули мы Таврический дворец.

Глава IV

Весь конец июня и начало июля прошли очень тревожно. Единственное время, когда я могла задавать папа вопросы, был вечерний чай, который мой отец приходил пить в гостиную и на котором, кроме мама и меня, почти никогда никто не присутствовал.

Помню, как папа говорил, что не только в Государственной думе, но и в Кабинете министров полного согласия нет, что и является главным тормозом для принятия более решительных мер. Председатель Совета министров признавал лишь одни самодержавные решения государя, и это делало заседания Кабинета министров пассивными. Между тем папа говорил, что сила правительства проявится лишь в том случае, если оно будет выносить свои решения «объединенным» министерством и этим облегчит непосильную работу государю.

Руководящую роль в Государственной думе играли кадеты, принявшие с первых же заседаний непримиримую позицию по отношению к правительству, и для моего отца уже с конца мая стала совершенно ясной невозможность совместной работы правительства и думы.

Все это создавало атмосферу, очень затрудняющую работу моего отца, и я видела, насколько все утомленнее становится его лицо и как он должен брать себя в руки, чтобы короткие минуты, которые он проводил с нами, казаться веселым и входить в наши интересы. Я, конечно, понимала все это, а младшие сестры, как раньше, подбегали к нему, только он выходил к завтраку или к обеду, с рассказами о всяких своих детских горестях и радостях. Папа их слушал, ласкал, но часто имел при этом рассеянный, отсутствующий вид и вполне отдыхал лишь тогда, когда брал на колени своего трехлетнего сына.

В окна мы видели то и дело подъезжающих к даче разных государственных деятелей. Папа тоже часто ездил и к другим министрам, и к государю. И очень поздно по ночам затягивались его занятия и частые заседания.

Этому последнему никак не могла надивиться двоюродная сестра моего отца, графиня Орлова-Давыдова, дочь бывшего нашего посла в Лондоне. Она все говорила:

– Как можно работать без отдыха? В Англии все государственные деятели вечер, после обеда посвящают исключительно семье и удовольствиям!

К этому же времени относятся переговоры моего отца с лидерами господствовавшей в первой Государственной думе

партии кадетов. Я помню, как он надеялся сговориться с ними для составления коалиционного кабинета. Но он встретил лишь упорное непонимание и нежелание уступить хоть в чем-нибудь, почему и принужден был отказаться от этой мысли.

Я не понимала тогда, почему все эти переговоры ведет папа, а не Горемыкин (председатель Совета министров.). Но очень скоро это выяснилось.

9 июля, когда папа со своим дежурным чиновником особых поручений вошел к завтраку, последний сказал одной из моих маленьких сестер:

– А ну-ка, скажите, как называется теперь должность вашего отца? Он председатель Совета министров. Можете ли это выговорить?

Тогда для меня все эти переговоры с министрами и кадетами стали ясны, и папа, оставленный министром внутренних дел, совмещал теперь с этим и должность председателя Совета министров. Я только поняла одно: еще больше работы, еще больше утомления и еще больше нападков на него и злобы.

Одновременно с назначением моего отца состоялся и роспуск первой Государственной думы, и первый тяжелый удар был нанесен Кабинету уже на следующий день, когда было выпущено знаменитое Выборгское воззвание («Выборгское воззвание» было составлено левыми членами думы, которые, придя в Думу на заседание и найдя двери запертыми, уехали сразу в Финляндию, в г. Выборг, собрались там на заседание и выпустили воззвание, призывающее народ к тому, чтобы не давать правительству ни одного солдата и не платить повинностей).

Глава V

Моим единственным большим развлечением стала верховая езда. Ездила я в манеже Боссе, а иногда и на «воле», с манежным берейтером и на манежной лошади, про которую наш старый Осип был бы вправе сказать свое вечное ироническое «без ног». Но несмотря на то, что это не была моя собственная любимая лошадь, было большим наслаждением проехаться по тихим тенистым уличкам «островов», вдоль задумчивых узких каналов мимо маленьких деревянных дач, жители которых с интересом разглядывали меня. Тогда я, пустив свою лошадь крупною рысью, забывалась, и меня оставляли болезненно мучительные думы о Колноберже, о том, что миновало время нашего тихого семейного уюта, когда кругом чувствовалось столько благожелательства, внимания и дружбы.

Вскоре ко мне приехала, к моему большому удовольствию, гостить моя подруга Маруся Кропоткина из Саратова.

Возобновились наши длинные задушевные разговоры, совместные чтения, а также занятия живописью.

Мы учились в Саратове живописи вместе и теперь решили, пользуясь чудными летними днями, ходить рисовать с натуры живописные уголки в окрестностях. Но не суждено было нам посвятить этому много времени. Во всяком случае, приступили мы к делу с большим рвением и начали с того, что пошли в Ботанический сад, находившийся очень близко от нашей дачи, искать подходящий вид.

Гостила у нас это лето и Зетинька, внесшая в нашу жизнь колнобержский уют. Она с нами и гуляла, и разговаривала, и жила всеми нашими интересами.

Так и теперь позвали мы ее с собой и втроем выбрали очень подходящий пейзаж – уголок пруда с склоненными над ним деревьями и кусочек аллеи около него. Так как Ботанический сад был совсем близко от нашего дома, то нам позволили туда ходить одним, и мы на следующий же день (было это в начале августа), забрав наши ящики с красками, складные стулья и мольберты, отправились к выбранному нами месту.

Раза два ходили мы к нашему пруду, и наши рисунки успели уже порядочно подвинуться. Придя в третий раз и только что удобно расположившись, мы увидели двух незнакомых молодых людей. Один из них был в студенческой форме, другой в косоворотке, но оба довольно неопрятной наружности. Они взглянули на произведения нашего искусства, и один из них горестно воскликнул:

– Вот чем занимается буржуазия, когда надо спасать отечество!

Мы с Марусей переглянулись, но продолжали спокойно работать дальше. Наши непрошеные собеседники не уходили. Сначала они говорили между собой, выражая соболезнования нашему неправильному воспитанию и возмутительному образу жизни, потом перешли на политические темы, стараясь втянуть нас в разговор; при этом они пересыпали свою речь советами, какую куда положить краску.

Так и слышу, как один из них все советовал мне:

– Эх, барышня, охры сюда надо, охры побольше.

Не получая от нас ни слова в ответ, они стали все наглее и наглее критиковать существующий строй и издеваться над всякими мероприятиями моего отца.

Мы сидели как на иголках, не зная, продолжать ли делать вид, что мы ничего не видим и не слышим (что становилось уже глупо, и мы это чувствовали), или встать и уйти. По разговорам о папа я понимала, что они знают, кто я такая, но мне не хотелось, чтобы они видели, как мы идем в министерскую дачу, и мы в нерешительности посмотрели друг на друга, как вдруг студент положил мне на колени какой-то печатный листок. Я машинально взяла его и с первых слов, грубых и дерзких, поняла, что это революционная пропагандная прокламация.

Тут меня взорвало. Я разорвала листок на мелкие клочки и, совершенно спокойно встав, ни слова не говоря, подошла к пруду и бросила в него клочки бумаги.

Студент крикнул какую-то дерзость насчет моей политической незрелости, но я слыхала ее только одним ухом, так как мы обе, не сговорившись, собрали свои краски и поспешно направились к выходу из сада. Студенты продолжали приставать к нам со своими революционными лозунгами, пересыпая речь насмешками над нами. Пройдя несколько шагов по набережной Невки, они быстро скрылись, как только увидели нашего увешанного медалями старика швейцара, гордившегося тем, что он служит при седьмом министре и не подозревавшего тогда, что через несколько дней он сложит свою голову, защищая папа.

Пришли мы домой, конечно, сильно возбужденные и взволнованные, и я заслужила похвалу моих родителей за то, что, не струсив с «глазу на глаз» с революционерами, имела гражданское мужество демонстративно разорвать прокламацию и этим открыто высказать свои политические взгляды.

Глава VI

Кажется, один только раз за наше трехмесячное пребывание на Аптекарском острове пришлось мне провести спокойно часа два с папа. Было это на пароходе «Онега», на котором мой отец ехал с докладом к государю в Петергоф, и взял меня с собой.

Так чудно было, как в былые дни, иметь возможность поговорить спокойно с папа обо всем интересовавшем и волновавшем меня.

Спрашивала я о том, почему не удовлетворяют хоть часть требований левых партий, что, по-моему, могло бы внести успокоение в их ряды. На это мой отец ответил мне, что таково было с самого начала и его желание, но, что все его усилия и старанья найти общий язык даже с кадетами, не говоря уже о более левых партиях, не привели ни к чему: все, что они ни предлагают, не идя при этом ни на какие уступки, так далеко от жизни, что сразу видно, как все их учение построено на теории, выработанной в умах и на бумаге, а не вылилось из жизненных запросов.

Часто упоминал папа уже в то время в разговорах имя министра финансов Коковцова, говоря, как ему приятно иметь к Кабинете министров человека, мнение которого он так ценит.

С уважением смотрела я, сидя рядом с моим отцом, на лежащий перед ним его портфель и думала: вот тот самый портфель, из-за обладания которым происходит столько интриг и борьбы, рождается столько зависти и злобы. Впоследствии, после кончины папа, я получила на память о нем этот портфель.

Одна сторона его была с металлической прокладкой, так что он мог, в случае покушения, служить щитом.

Как хорошо было так поговорить с папа, чувствуя, что он тот же близкий, бесконечно любимый и любящий отец, каким был всегда, и что никакие заботы государственные не убьют в его душе заботы о семье. Сколько раз мне приходилось слышать фразу: «Вы, наверно, очень боитесь вашего отца? Такой он строгий на вид!»

Бояться папа? – мне это казалось невозможным со дня моего рождения до его кончины. Любить его, уважать, бояться огорчить его – да, но бояться подойти к нему – никогда в голову не могло прийти.

Первый раз в жизни, на пристани в Петергофе, увидала я придворный экипаж, ожидающий моего отца, придворные ливреи, лакея и кучера. Все это было чрезвычайно нарядно и красиво. Поразительно стройны и величественны были и большой

Петергофский дворец, парк, фонтаны… Веяло от всего этого силой и величием управляющей Россией династии; силой, еще не поколебленной недоверием и злобой ее подданных. Положительно не верилось, глядя на торжественную строгость и спокойствие всего окружающего нас в Петергофе, что где-то совсем близко бушуют страсти и что вековые устои трона уже дрожат под напором враждебных сил.

Глава VII

11 июля, в день именин нашей матери, разыгрывали мы пьесу, текст которой в стихах был написан моей сестрой Наташей. Все четыре мои сестры изображали цветы и горевали о том, что они приросли к земле – «все о ногах мечтали». А через несколько недель Наташа лежала с раздробленными бомбой ногами и в бреду «все о ногах мечтала».

Произошел этот взрыв, положивший конец жизни тридцати невинных людей, 12 августа 1906 года.

Это было в субботу, в приемный день моего отца, когда каждый, имеющий до него дело, мог явиться к нему и лично передать свою просьбу. На эти приемы собиралось обыкновенно очень много народу – людей самых разнообразных сословий, положений и состояний. Так было и в этот раз.

Две приемные, зал заседаний, кабинет и уборная моего отца находились, как и одна гостиная и столовая, внизу, а все наши спальни и маленькая гостиная мама наверху.

В этот день, в три часа, я кончила давать моей маленькой сестре Олёчку в нижней гостиной урок, и мы с ней вместе пошли наверх. Олёчек вошла в верхнюю гостиную, а я направилась к себе через коридор, когда вдруг была ошеломлена ужасающим грохотом и, в ужасе озираясь вокруг себя, увидала на том месте, где только что была дверь, которую я собиралась открыть, огромное отверстие в стене и под ним, у самых моих ног, набережную Невки, деревья и реку.

Как я ни была потрясена происходящим, моей первой мыслью было: «Что с папа?», я побежала к окну, но тут меня встретил Казимир и успокоительно ответил мне на мой вопрос: «Боже мой! Что же это?» – «Ничего, Мария Петровна, это бомба».

Я подбежала к окну с намерением спрыгнуть из него на крышу нижнего балкона и спуститься к кабинету папа.

Но тут Казимир спокойно и энергично взял меня за талию и силой вернул в коридор. В этот момент увидала я мама с совершенно белой от пыли и известки головой. Я кинулась к ней, она только сказала: «Ты жива, где Наташа и Адя?» Мы вместе вошли в верхнюю гостиную, где лежала на кушетке поправляющаяся от тифа Елена, с которой находилась Маруся Кропоткина. Мебель была поломана, но стены и пол были целы, тогда как рядом, в моей комнате, вся мебель была выброшена и лежала в приемной и на набережной. Почти сразу, как только мы вошли в гостиную, услыхали мы снизу голос папа: «Оля, где ты?» Мама вышла на балкон, под которым стоял мой отец, и я никогда

не забуду тех двух фраз, которыми они тогда обменялись:

– Все дети с тобой?

И ответ мама:

– Нет Наташи и Ади.

Надо видеть все описанное, чтобы представить себе, как это было произнесено, сколько ужаса и тоски могут выразить эти несколько слов.

Княжна Кропоткина и я, желая сойти вниз, побежали тогда к лестнице, но ее не было. Было ступенек десять, а дальше пустота. Тогда мы обе, недолго думая, спрыгнули вниз, упав на кучу щебня, и побежали дальше. Я отделалась благополучно, а у Маруси оторвались почки. Остальных спустили на простынях подоспевшие на помощь пожарные.

Выйдя в сад, я сразу, перед балконом, увидела идущего мне навстречу папа.

Что за минута была, когда я бросилась на его шею; какое, несмотря на ужас окружающего, счастье было увидать его тут, рядом с собой, живым и здоровым! Мы только и успели обняться и крепко поцеловаться, и я пошла дальше в сад, откуда раздавались душераздирающие стоны и крики раненых, а папа с появившейся в эту минуту моей матерью побежали в другую сторону отыскивать своих пропавших детей. Живыми или мертвыми, но только найти их, найти и знать, что с ними.

Сад перед домом представлял собою нечто ужасающее, и мы с Марусей решили, что надо как можно скорее найти и увести из этого ада детей с их гувернантками. Скоро нам и удалось их собрать всех вместе, и мы, стараясь не слышать стонов, стараясь не глядеть на лежащих в неестественно скрюченных позах раненых и убитых, повели трех девочек и совершенно растерявшуюся рыдающую немку в самую глушь сада к оранжереям и, устроив там возможно удобнее еще с трудом после тифа передвигающуюся Елену, мы пошли к раненым.

Не понимаю, каким это образом, но помню ясно, что в моих руках очутилась бутылочка с валерьяном, и я дала по хорошей дозе и детям и гувернанткам. Приняли и мы с Марусей этих успокаивающих капель. Мы не плакали и очень спокойно распоряжались чем могли, но дрожали обе с головы до ног и внутри все мерзло от какого-то мучительного, непонятного холода.

Ухаживая за ранеными, мы встретили папа и мама, подойдя к которым узнали, что Наташа и Адя найдены живыми на набережной под обломками дачи, но что оба тяжело ранены.

В нашем саду был второй дом, где жили гостящие у нас друзья, гувернантки и часть прислуги. Дом этот от взрыва не

пострадал, и туда и перенесли Наташу и Адю и некоторых других раненых. Наташа была ранена очень серьезно, и странно было видеть, когда ее переносили, это безжизненно лежащее тело с совершенно раздробленными ногами и спокойное, будто даже довольное лицо.

Не издавала она ни одного звука: ни крика, ни стона, пока не переложили ее на кровать. Но тогда она закричала, и кричала уже все время, – так ее и в больницу увезли – кричала так жалобно и безнадежно, что мороз по коже проходил от крика этой четырнадцатилетней девочки.

Доктора потом объясняли, что она первое время не чувствовала боли и что при такого рода сильных ранениях всегда так бывает.

У Ади были маленькие раны на голове и перелом ноги, и все последующее время бедный ребенок страдал больше от нервного потрясения, чем от ран. Он несколько дней совершенно не мог спать: только задремлет, как снова вскакивает, с ужасом озирается и кричит: «Падаю, падаю».

Узнав участь Наташи и Ади, я пошла снова к раненым. Один из докторов (уже успевших прибыть из города или из бывших на приеме, не помню) дал Марусе и мне перевязочные средства, и мы продолжали помогать, кому могли. Выходя от Ади, первую, кого мы увидели, была его няня, лежащая в комнате рядом с ним на полу и безостановочно жалобно со стоном повторяющая: «Ноги, ох, ноги»…

Мы ее подняли, переложили на диван, и я, расшнуровав ей ботинок, стала бережно его снимать. Но каков был мой ужас, когда я почувствовала, что нога остается в ботинке, отделяясь от туловища. Положили несчастную девочку (ей было всего семнадцать лет), насколько можно удобнее и вышли в сад. Боже! Какой ад был в этом за час до того мирном саду. Так же благоухали цветы, так же шелестели густой листвой липы и так же изводяще медленно ползали по лужайкам, будто ничего не произошло, две подаренные кем-то Наташе черепахи. А на дорожках, на газоне, повсюду лежали раненые, мертвые тела и части тел: тут нога, тут чей-то палец, там ухо. Лежит, хрипло дышит какой-то мужчина, видно, что страдает невыносимо. Достала я ему воды, но когда наклонилась, чтобы влить ему в полураскрытый рот, заметила, что он, пока я бегала за водой, умер.

Обходя дальше раненых, я нашла далеко в саду убитого мальчика, лет двух-трех; рядом часовой. Я спрашиваю, что это за ребенок, а он мне четко, по-военному отвечает:

– Сын его высокопревосходительства, председателя Совета

министров.

Слава Богу, я тогда уже знала, что брат мой жив. Оказалось, что один из просителей, очевидно, чтобы разжалобить папа, принес с собой своего маленького сына. Оба погибли. По всему саду были расставлены часовые, и все место взрыва оцеплено.

Между просителями был доктор, которого я уже раньше встретила в саду. Отыскав его, я привела его к Аде. Но помощи он оказать мне мог очень мало, так как совершенно потерял голову. Слушая крики Наташи и глядя на Адю, он все только хватался за голову и повторял: «Бедные люди, несчастные люди». Я его спросила (до того он ходил к Наташе), грозит ли ей ампутация ног? В ответ на это он только поцеловал мою руку.

Очень скоро подоспели кареты скорой помощи, доктора, санитары и друзья. Передав Адю в надежные руки, я пошла снова к раненым.

К вечеру увезли пострадавших. Наташу и Адю поместили в частную, ближайшую лечебницу доктора Калмейера.

Выбора лечебницы не было, так как состояние Наташи было настолько тяжело, что надо было ее везти в самую близкую больницу, и то доктора удивлялись ее крепкому организму, выдержавшему этот переезд. Моя мать, конечно, поехала со своими ранеными детьми, а мы с папа через некоторое время отправились на катере в дом председателя Совета министров на Фонтанке, в который мы должны были осенью переехать.

Взяли мы с собой любимую кошечку Наташи, серую Гуню, которая с момента взрыва как сумасшедшая носилась по саду, по развалинам между ранеными и убитыми, дико и жалобно мяукая. Только теперь она успокоилась, сидя на моих коленях. Мы ехали почти все время молча, подавленные происшедшим, но, как бывает только в такие минуты; чувствовали себя так близко друг к другу, как никогда.

Глава VIII

К тому времени уже успела выясниться вся картина катастрофы.

Наташа, маленький Адя и его няня, молоденькая воспитанница Красностокского монастыря, находились на верхнем балконе, прямо над подъездом.

Адя с интересом разглядывал подъезжающих и, таким образом, он, единственный из выживших, видал, как подъехало к подъезду ландо с двумя мужчинами в жандармской форме. «Жандармы» эти, очевидно, возбудили подозрение старика швейцара и состоявшего при моем отце генерала Замятина неправильностью формы.

Дело в том, что головной убор жандармских офицеров недели две до этого был изменен, приехавшие же были в старых касках. Кроме того, они держали бережно в руках портфели, что не могло быть у представляющихся министру. Швейцар сделал несколько быстрых шагов вперед, желая пресечь путь подозрительным «офицерам», а генерал Замятин, видавший их из окна приемной, кинулся, чуя недоброе, в переднюю.

Самозванные «жандармы», видя, что на них обратили внимание, и боясь потерять время, кинулись в подъезд и, оттолкнув преградившего им дорогу швейцара, вошли в переднюю, где, натолкнувшись на выбежавшего из приемной генерала Замятина, бросили свои портфели на пол.

Мгновенно раздался оглушительный взрыв… Большая часть дачи взлетела на воздух. Послышались душераздирающие крики раненых, стоны умирающих и пронзительный крик раненых лошадей, привезших преступников. Загорелись деревянные части здания, с грохотом посыпались каменные…

Сами революционеры, Замятин и швейцар были разорваны в клочья. Кроме них погибло более тридцати человек тут же, сразу, не считая умерших в ближайшие дни от ран. Взрыв был такой силы, что на находящейся по другую сторону Невки фабрике не осталось ни одного целого стекла в окнах.

Единственная комната во всем доме, которая совсем не пострадала, был кабинет моего отца.

В момент взрыва папа сидел за письменным столом. Несмотря на две закрытые двери между кабинетом и местом взрыва, громадная бронзовая чернильница поднялась со стола на воздух и перелетела через голову моего отца, залив его чернилами. Ничего другого в кабинете взрыв не повредил, и среди десятков убитых и раненых в комнатах рядом и наверху

папа, волею Божьей, остался цел и невредим.

Рядом с кабинетом, в гостиной, не уцелело буквально ни одной вещи, ни одной стены, ни потолка, но на своем месте остался стоять маленький столик с нетронутой и даже не покрытой пылью фотографией в рамке. Таких непонятных явлений при взрыве было много. Один из спасенных, представлявшихся папа, рассказывал потом мне, как он до взрыва подошел к знакомому губернатору и только успел начать с ним говорить, как увидел своего собеседника без головы.

Наташа и Адя, находившиеся, как было сказано, в момент взрыва на балконе над подъездом, были выброшены на Набережную. Наташа попала под ноги лошадей, запряженных в полуразрушенное ландо убийц. Ее прикрыла какая-то доска, которую топтали бесновавшиеся от боли лошади. Тут ее нашел какой-то солдат. Была она без сознания. Когда ее солдат поднял, она открыла глаза и сказала:

– Это сон? – и сразу, очнувшись и поняв все. – Что, папа жив? – Узнав, что он жив и невредим, она прибавила: – Слава богу, что я ранена, а не он. – И впала в забытье.

Адю нашли вблизи от Наташи под обломками разрушенного балкона.

Вот то, что мы узнали в первый вечер, а потом, понемногу, стали выясняться дальнейшие подробности этого кошмарного дня.

Глава IX

Приехали мы, здоровые дети, с папа на Фонтанку уже к вечеру и расположились в нашем новом красивом доме, как на биваке, так как, конечно, в первую ночь ничего нельзя было как следует устроить. Очень трудно мне было с прислугой, особенно с девушками. Они рыдали, бились в истерике и умоляли сразу их отпустить. Я растерялась, сказала, что не могу ручаться за то, что не будет снова покушения, и пусть они уходят, если боятся, и тут же, повернувшись к находившемуся в той же комнате Казимиру, сказала:

– Что же, Казимир, и вы, наверное, теперь захотите уйти от нас? – на что он с доброй улыбкой ответил:

– Нет, Мария Петровна, куда Петр Аркадьевич с Ольгой Борисовной поедут, туда и я.

С Фонтанки папа поехал сразу в лечебницу Кальмейера, где лежали раненые Наташа и Адя, и тут ему доктора объявили, что они не видят возможности спасти Наташу, не ампутировав обе ноги, и при этом не позже вечера.

Приехал лейб-хирург Павлов и подтвердил мнение своих коллег.

Тогда мой отец, на свой страх умолил докторов подождать с ампутацией до следующего дня, на что они с большим трудом, но согласились. На следующий день они сообщили, что попробуют спасти обе ноги, что им с Божьей помощью и удалось.

Все последующее время Наташа находилась под непосредственным наблюдением профессора Грекова, проявившего при двухлетнем лечении столько же знания, как и сердечной доброты.

Страдала Наташа первое время ужасно. Первые дни бедная девочка почти все время была без сознания и лежала с вертикально подвязанными к потолку ногами. Она то тихо бредила, быстро, быстро повторяя какие-то бессвязные фразы о Колноберже, о цветах и о том, что у нее нет ног, то стонала и плакала…

Ей обстригли ее чудные густые косы, обрезали волосы неаккуратно, не имея возможности двинуть ее головы, и от этого ее бледное измученное лицо выглядело еще более жалким. К ее страданиям прибавились еще мучения с зубами, которые стали все качаться после падения. Надо было их лечить, что было очень сложно для зубного врача, который должен был работать над лежащей без движения в кровати пациенткой, и что было, понятно, мучительно и для самой Наташи.

Когда папа в первый день уехал к раненым при взрыве, я пошла осматривать его кабинет. Находился он в нижнем этаже, с двумя огромными окнами на Фонтанку. После только что пережитого это показалось мне настолько страшным и опасным, что я взяла на себя смелость дать распоряжение перенести всю мебель кабинета в верхний этаж, в залу рядом с домовой церковью.

Когда папа вернулся, все было устроено. Я немного боялась того, как папа отнесется к моему самовольному поступку. Несколько смущенная вышла я его встречать на лестницу и сказала, что я сделала. Папа сказал:

– Благодарю тебя, моя девочка, – и, обняв меня за плечи, как он это часто любил делать, вместе со мной пошел сразу наверх.

Шел он своею всегдашней бодрой походкой, но лицо его отражало глубокое волнение, видно было, что для него было пыткой видеть только что в больнице своих изувеченных детей и других пострадавших.

Моя мать осталась жить в лечебнице, ухаживая за Наташей и Адей, а мы с Марусей Кропоткиной храбро взялись за устройство дома. Столом же взялась заведывать Зетенька. Но не долго продолжалось ее управление этим отделом хозяйства.

Дня три после катастрофы подают к завтраку котлеты с картофелем и горошком. Зетенька вдруг бледнеет, краснеет и с трагическим жестом, обращаясь к папа, говорит:

– Петр Аркадьевич, довольно, я отказываюсь от ведения хозяйства. Он меня не уважает и издевается надо мной.

Папа удивленно поднял глаза на Зетеньку и спросил:

– В чем дело? Кто издевается над вами?

– Повар, Петр Аркадьевич, повар. Он не признает моего авторитета. Я ему заказала котлеты с морковью, а он подает их с горошком… Это ужасно.

Зетинька говорила так искренно возмущенно и так комично, что мы все, не исключая и папа, громко рассмеялись. Это было первый раз, что мы смеялись после взрыва.

С трудом удалось успокоить Зетеньку; к вечеру лишь она сказала, что больше не обижена на нас за наш смех, но от каких бы то ни было разговоров с поваром отказалась наотрез, и оставила за собой лишь проверку счетов и меню.

Трудно описать, что переживал за эти дни мой отец. Боязнь за жизнь дочери и страх, что она в лучшем случае останется без ног; единственный трехлетний сын, весь перевязанный в своей кровати – и по нескольку раз в день известия из больницы: то умер один раненый, то другой. Папа косвенно приписывал себе вину за эту кровь и эти слезы, за мучения невинных, за

искалеченные жизни и страдал от этого невыносимо.

Это единственное время с тех пор, как папа стал министром, что я свободно, как в детстве в Ковне, входила в его кабинет. Я всем своим существом чувствовала, что я ему нужна. Мама не было дома и, не находя поддержки в близком существе, ему трудно было бы, несмотря на все свое самообладание, найти в себе, в первые дни после взрыва, достаточно сил для работы. А он не только нашел их вскоре, но, не прерывая работы ни на один день, стал еще энергичнее вести свою линию. Многие из его сотрудников говорили, что «после 12-го августа престиж Петра Аркадьевича, не давшего себя сломить горем, так поднялся среди министров и двора, что для всех нас он стал примером моральной силы».

Глава X

От поездок к своим раненым детям папа возвращался в ужасно тяжелом настроении: Адя лежал теперь довольно спокойно, но Наташа страдала все так же. Через дней десять доктора решили окончательно, что ноги удастся спасти, но каждая перевязка была пыткой для бедной девочки. Сначала они происходили ежедневно, потом через каждые два, три дня, так как таких страданий организм чаще выносить не мог. Ведь хлороформировать часто было невозможно, так что можно себе представить, что она переживала. У нее через год после ранения извлекали кусочки извести и обоев, находившихся между раздробленными костями ног. Кричала она во время этих перевязок так жалобно и тоскливо, что доктора и сестры милосердия отворачивались от нее со слезами на глазах. Она до крови кусала себе кулаки, и тогда тетя, Анна Сазонова, помогающая в уходе за ней, стала держать ее и давала ей свою руку, которую она всю искусывала.

Адя стал лежать тихо, когда прошло острое нервное потрясение первых дней, и пресерьезно спросил папа:

– Что, этих злых дядей, которые нас скинули с балкона, поставили в угол?

Государь, когда ему передал эти слова папа, сказал:

– Передайте вашему сыну, что злые дяди сами себя наказали.

При первом приеме после взрыва государь предложил папа большую денежную помощь для лечения детей, в ответ на что мой отец сказал:

– Ваше величество, я не продаю кровь своих детей.

Стали нам на Фонтанку приносить с Аптекарского спасенные вещи; большие узлы с бельем, платьем и другими вещами. Маруся и я принялись их разбирать, но скоро с ужасом бросили это занятие – слишком много кровяных пятен было на вещах, и даже попался нам кусок человеческого тела.

Принесли и футляры от драгоценных вещей моего отца и моих, но только футляры. Драгоценностей в них не было ни одной. Позже папа вспоминал, что, когда он сразу после взрыва пробегал в переднюю через свою уборную, он видал каких-то людей в синих блузах, копошащихся над его туалетным столом. Кто они были и как попали сюда почти в момент покушения, осталось необъясненным.

Мои золотые вещи лежали в шкатулке, находящейся в шкапу моей комнаты. Шкап нашли совсем разломанным, а мне вернули сломанную шкатулку со всеми в ней лежавшими футлярами,

аккуратно в ней уложенными и пустыми все до одного.

Конечно драгоценности почти все были детские, но были между ними и очень ценные серьги с солитерами, оставшиеся мне от бабушки. Большую шкатулку с бриллиантами мама спас наш верный Казимир.

Удаливши меня от окна в момент взрыва, Казимир по обломкам пробрался в спальную моих родителей, спокойно и деловито разыскал между обломками ящик, где, как он знал, хранились драгоценности, выкинул его через окно в кусты и, спустившись потом в сад, взял шкатулку и уже на Фонтанке сдал моей матери.

Глава XI

Очень недолго жили мы на Фонтанке. Государь предложил папа переселиться в Зимний дворец, где гораздо легче было организовать охрану. Аде и Наташе были отведены громадные светлые комнаты, и между ними была устроена операционная. Наташина комната была спальной Екатерины Великой.

Скоро обоих наших раненых перевезли во дворец, и Наташина комната наполнилась цветами, подарками, конфетами, а немного спустя и гостями.

Как ни казалась мне жизнь на Аптекарском мало свободной, но что это было по сравнению с Зимним дворцом. Всюду были часовые, и мы положительно чувствовали себя как в тюрьме.

Когда мы еще жили на Аптекарском, вздумали мы с Марусей поехать посмотреть Зимний дворец. У нас спросили письменное разрешение, какового у нас не было, и хотя мы сказали, кто мы и приехали на казенных лошадях с министерским кучером и выездным лакеем, нас не впустили. Часто потом, живя в этой почти что крепости, вспоминали мы этот случай.

Сестер пускали бегать в сады: один внизу большой, а другой во втором этаже, где росла целая аллея довольно больших лип. Но дети с первого же дня возненавидели эти сады и прозвали их: «Gross Sibirien» и «Klein Sibirien».

Папа, для которого жизнь без моциона была бы равносильна при его работе лишению здоровья, гулял по крыше дворца, где были устроены удобные ходы, или по залам. Кабинет, уборная папа, спальная моих родителей, все это было устроено не по их выбору, а по соображениям и распоряжениям охраны. Мой отец беспрекословно всему подчинялся – кажется, в это время он мало и замечал, что творится вне его работы и семьи. Слишком велико было усилие воли, требуемое на то, чтобы, переживая то, что он переживал, исполнять всю гигантскую работу, лежащую на его плечах.

Часто, когда мои родители гуляли после обеда по залам дворца, ходили и мы туда же. Грустный и жуткий вид являли эти залы, освещенные каждая одной лишь дежурной лампочкой. В этом полумраке казались они еще громаднее, чем днем, еще таинственнее говорили их стены о днях блеска, пышности и величия. Днях, когда никакое посягательство на самодержавие не колебало трона русских царей.

Строгой и стройной анфиладой тянулись зала за залой, гостиная за гостиной. Гордо и уверенно глядели со стен портреты императоров и таинственно блестела в полумраке позолота рам,

мебели и люстр. А в тронном зале покрытый чехлом трон навевал тяжелые думы.

Странно – сильна и крепка была еще монархия, на недосягаемой высоте, окруженный ореолом вековой славы, возглавлял Россию ее император; революция притихла, припала к земле, примолкла… а вместе с тем какое-то инстинктивное чувство сжимало грудь в этом огромном дворце, никогда больше не оживавшем, не видящем теперь ни нарядных балов, ни приемов, будто забытом всей царской семьей. Одни дежурные лакеи лениво шаркали по пустым залам и оживлялись лишь, когда начнешь их расспрашивать про былые дни величия и славы.

Из моей спальни был прямо вход в Эрмитаж, и после дежурства у Наташи, особенно тяжелого, когда она бредила, было огромным наслаждением выйти из нашего окруженного часовыми помещения и отдохнуть душой среди творений великих мастеров.

Глава XII

Как-то утром я нашла рядом со своей чашкой кофе письмо с адресом, написанным совсем незнакомым почерком. Открыв его, я с удивлением увидела, что оно без подписи, а прочтя его, удивилась еще больше. Писал какой-то незнакомый мне мужчина, начиная свое послание словами: «Зная, что Вы разделяете наши взгляды и что, несмотря на Ваше чудовищно отсталое воспитание, Вы достаточно культурны, чтобы интересоваться музеями и картинными галереями, и посещаете их…». Дальше же мне предлагалось в одном из музеев встретиться в определенный час с моим корреспондентом, который введет меня в кружок «наших с Вами единомышленников», и где я, наконец, сбросив мучащие меня, по его мнению, «нравственные цепи», могу свободно предаться счастью партийной работы. В конце письма стоял адрес какой-то дамы, на имя которой я должна была отвечать. Я не знала, что и думать.

Все это было так дико и непонятно. Но, перечтя еще раз письмо, я показала его только Марусе и разорвала.

Какое-то внутреннее чувство не позволило мне показать письмо моим родителям. Я сама не знала, права я или нет, но мне казалось неблагородным выдавать человека, как-никак доверившегося мне: «Ну что ж, – рассуждала я, – увидит этот господин, что ошибся, и отстанет».

Но он не отстал, и я дней через пять получила второе письмо, тем же почерком. Но тон его был наглый, и содержание его так меня взорвало, что я, не теряя минуты, снесла письмо папа, как раз сидевшему за утренним кофе. Только я все же зачеркнула адрес.

Внимательно прочтя письмо и посмотрев на зачеркнутый адрес, папа спросил меня: «А первое?»

Я чистосердечно объяснила мотив моего поведения. Папа пристально посмотрел на меня, не сказал ни слова, но я по глазам его видела, что он меня понял и… одобрил.

Вскоре я забыла об этом инциденте, и лишь много месяцев спустя мама мне вдруг показывает фотографию какого-то очень красивого брюнета и на мой вопросительный взор, отвечает, что это и есть мой таинственный корреспондент.

По расследованию охранным отделением оказалось, что проектировалось следующее: когда я приду на свидание, меня поведут на какую-то квартиру, где я должна была встретиться с членами партии социал-революционеров. Между ними и был этот красавец гипнотизер, под обаяние которого я, по мнению

устраивавших этот заговор, неминуемо должна была подпасть. Он бы мне тогда рекомендовал учителя для моих сестер, которому, по моим настояниям, мои родители доверили бы образование своих младших дочерей. Попав, таким образом, в наш дом, этот человек должен был убить моего отца.

Не говоря уже о чудовищности идеи подготовлять покушение на отца через его дочь, остается удивляться наивности людей, могущих себе вообразить, что так и открыли бы свободный доступ в нашу семью человеку, никому незнакомому, по одной моей рекомендации!..

Нервы мои не выдержали потрясенья и напряженья последних недель и, как я ни старалась скрыть своего недомогания, папа первый как-то за столом заметил, что я почти ничего не ем. Тогда я созналась, что давно лишь притворяюсь, что здорова, и что меня всегда знобит.

Смерили температуру – жар, и довольно высокий, и так каждый день. Доктор нашел, что больны у меня только нервы, и рекомендовал одну лишь радикальную перемену обстановки.

У нас еще жила тетя Анна, которая собиралась скоро ехать к себе домой в Рим, где ее муж был посланником при Святейшем Престоле. Она предложила взять меня с собой, с заездом по дороге на неделю в Париж. А до Рима предполагалось послать меня в Италию, в Сальсомаджиоре, курс лечения в котором, надеялись, укрепит меня.

За последнее время я особенно успела оценить доброту тети Анны. Чего она не делала, чтобы развеселить меня и отвлечь хотя бы на часть дня от сидения при больной Наташе: и знакомых для меня подбирала подходящих и интересных, и в театр водила, и каталась, и гуляла со мной.

Теперь, когда мои родители разрешили мне поездку с ней за границу, я была вне себя от радости. Видеть Рим было моей давнишней заветной мечтой, а тут еще и Париж.

Глава XIII

В начале октября мы выехали с тетей Анной за границу. Уже знакомое мне Вержболово, аккуратные домики Восточной Пруссии, Берлин и дальше первый раз мною виденная, богатая и цветущая Западная Германия, за ней дымящая сотнями труб, живущая такой интенсивной жизнью, что пульсация ее чувствуется даже при проезде, Бельгия, – все это промелькнуло перед моими глазами, как в калейдоскопе, и сразу отвлекло от тяжелого кошмара последних недель.

В Париже мы встретились с дядей Сережей Сазоновым, и семь дней нашего там пребывания быстро прошли между осмотром города и примерками моей тети у Борта и Дусэ.

И дядя, и тетя старались меня баловать, и я все больше и больше отходила душой и отдыхала от пережитого, хотя все-таки не поправилась достаточно, чтобы вполне оценить Париж.

В Милане назначена была встреча с Mlle Nour, бывшей гувернанткой, а теперь самым преданным другом тети Анны. С ней я отправилась в Сальсомаджиоре, а тетя поехала прямо в Рим.

Только с момента переезда итальянской границы почувствовала я себя вполне нормальным человеком и всем своим существом впитывала в себя всю волшебную красоту Италии, которую сразу полюбила, как вторую родину.

И язык ее, и природа, и памятники искусства – все меня очаровывало, все мне было дорого и мило с первого шага моего по этой благословенной земле.

Одно Сальсомаджиоре меня разочаровало – голая, некрасивая местность и две гостиницы международного масштаба. Ничего типичного для Италии, никакой «couleur locale».

Зато потом, когда, кончивши скучное лечение, мы поехали в Рим, останавливаясь по дороге в Парме, Болонье, Флоренции, я совсем попала под обаяние этой удивительной страны.

Особенно сильное впечатление произвела на меня Флоренция. Приехали мы туда ночью и долго искал свободной комнаты, переезжая из гостиницы в гостиницу. И эта прогулка по темным, плохо освещенным улицам со средневековыми домами, церквами и дворцами, дышащими таинственным и мрачным прошлым и неизъяснимой поэзией – никогда мною не забудется.

Даже Рим – и тот не изгладил этого впечатления. А как там было чудно! Какой добротой окружили меня тетя и дядя, и как непривычно, легко и радостно чувствовала я себя, когда с утра отправлялась с Бедекером под мышкой изучать «заштатную столицу мира», как дядя Сережа Сазонов называл нежно им

любимый Рим.

Днем тетя меня брала с собой кататься по городу, или по Кампанье, или к друзьям с визитами. Казенная квартира Сазоновых была в чудном старинном доме, называемом итальянцами «палаццо Галицын». Старая каменная лестница, прекрасные потолки и двери клали на этот дом отпечаток старины, а его устройство – такое красивое и удобное, с прекрасной стильной мебелью, хорошими картинами, мягкими коврами превращали его в современный нарядный европейский дом.

Вся жизнь там носила совершенно иной отпечаток, чем у нас дома – все было мне в диковинку, но все меня интересовало и очень мне нравилось. Не было в этой жизни и тени патриархальности нашего ковенского быта, ни кипучего темпа жизни петербургской с нелюбимым всеми нами налетом «казенщины», вносимой в нее казенной обстановкой, казенной прислугой и т. д.

Все здесь было нарядно, подтянуто, удобно и приятно. Вся жизнь интересна и содержательна, но размеренна, не утомительна, без болезненных перебоев и глубоких отдыхов русской жизни. Не сразу я ко всему этому привыкла, но, привыкнув, очень оценила.

Дядя Сергей Дмитриевич Сазонов уже давно жил за границей: много лет провел он в Англии, и эта жизнь прочно привила ему западноевропейские вкусы и привычки, которые, сливаясь с его чисто русской натурой, создавали из него очень интересного человека. И он, и тетя массу читали на всех знакомых им языках, и дядя всегда мне говорил:

– Какая ты счастливая, что не обязана читать кроме книг газеты, а я вот, по долгу службы, должен с утра набивать себе голову этой дребеденью.

Как дядя и тетя хорошо ни знали Рим и его сокровища, им обоим доставляло огромное наслаждение снова и снова пойти полюбоваться на какую-нибудь любимую картину, статую или здание, и они с любовью украшали свой дом произведениями искусств.

Во время моего почти двухмесячного пребывания в Риме дядя Сережа просил для себя, тети и меня аудиенции у папы.

Быть принятой папой римским в частной аудиенции, конечно, очень меня прельщало, и я с восторгом в назначенное утро оделась во все черное с черным кружевом на голове, как этого требовал в то время этикет при представлении папе и что означало траур по утраченной папой светской власти.

Пройдены ворота со швейцарской гвардией в ее

удивительных, красных с желтым средневековых костюмах, пройдено много зал с бесшумно снующими по ним духовными лицами, короткое ожидание в приемной, где нас встречает папский «Camerieri di Capa e di Spado» (придворный папский чин), и нас просят в кабинет Его Святейшества.

Из глубины огромной комнаты идет нам навстречу приветливо улыбающийся Пий X. Я старательно делаю глубокий придворный реверанс и целую благословляющую меня руку, украшенную папским перстнем. Потом папа садится к своему письменному столу, поворачивая кресло лицом к нам, и приглашает нас сесть около себя. Начинается разговор, в котором я не могу принимать участия, несмотря на то, что папа обращается несколько раз лично ко мне, так как говорит он лишь по-итальянски, не в пример своему предшественнику Льву XIII, свободно изъяснявшемуся на нескольких языках.

Мой запас итальянских слов очень мал, и хотя я понимаю сказанную в мою сторону с доброй улыбкой фразу: «Corne sta il suo padre e la sua sorella?» (Как поживают Ваш отец и Ваша сестра?), ответить я могу лишь благодарным взглядом и немым поклоном, предоставляя дяде Сереже рассказать все могущее интересовать папу о моем отце и Наташе.

Конец беседы указывается, как у коронованных светских властителей, вставанием самого папы, снова дающим нам поцеловать свою руку.

Уходя, опять же, как у коронованных, не полагается поворачиваться спиной, а надо пятиться к двери спиной, смотря все время на папу.

Я старалась глядеть и на Пия X и на все его окружающее во все глаза, забыла этикет и преспокойно отвернулась от папы, простившись с ним. Тетя Анна испуганно повернула меня за плечи, да так энергично, что я, все еще не соображая, что от меня требуется, быстро повернулась вокруг себя самой, как волчок, и лишь тогда, поняв свою оплошность, страшно покраснев, кинулась к двери.

Последнее, что я увидала, взглянув еще раз на Пия X, это весело смеющееся лицо, когда он, покачивая головой, смотрел мне вслед.

Сазоновы, как члены дипломатического корпуса, аккредитованного при Святейшем Престоле, при дворе короля не бывали, так как в то время оба эти двора считались во вражде друг с другом. В еще более отдаленные времена между так называемыми белым и черным обществами была пропасть и представители их друг с другом не бывали знакомы и никогда в нейтральные дома одновременно не приглашались. В 1906 году

эта разница сгладилась, но оставались выражения: «Сегодня я была на «черном» чае. В отличие от чая «белого».

Очень интересны бывали у Сазоновых приемы католических прелатов, людей большею частью в высшей степени культурных и всесторонне образованных. Приемы же кардиналов происходили по определенному традиционному этикету.

Встречали кардиналов два лакея у самой дверцы кареты с высокими, особого типа свечами с гербами и красными бантами (цвета кардинальской мантии) и провожали их до верха лестницы, где их на первой сверху ступеньке встречал хозяин (посол или посланник), а хозяйка – у входа в помещение посольства или миссии.

Глава XIV

Все время моего пребывания в Риме я получала много писем из дому и с грустью узнала из них, что Наташа больна воспалением легких. Ее начали катать в кресле-кушетке по залам Зимнего дворца, где была очень неровная температура, и она, избалованная долгим лежанием в одной и той же комнате, простудилась.

Перенести такую тяжелую болезнь изнуренному организму бедной Наташи было очень трудно, и одно время совсем почти пропала надежда на ее выздоровление, но, по воле Божьей, и тут она выжила и сама писала мне в кровати короткие записки, зовя меня скорей домой.

К Рождеству я вернулась. Одной мне не позволили ехать так далеко и послали м-ль Сандо меня встретить в Мюнхен, до которого меня провожала католическая монахиня.

Помню, как эта монахиня с неизменной, какой-то далекой и рассеянной улыбкой смотрела на меня, слушая мои рассказы и односложно отвечая на мои вопросы. Она была немкой, так что мне было бы легко с ней говорить, но она не имела ни малейшего желания вступать со мной в разговоры и сидела всю дорогу так неподвижно и прямо, что даже не смяла своего белого накрахмаленного головного убора, который не снимала и на ночь. Когда я просыпаясь ночью открывала глаза, я видала ее все такой же свежей, спокойной, сидящей, не опираясь о спинку дивана, и перебирающей четки.

Пасмурным и неприветливым показался мне Петербург после солнцем залитого Рима. И люди все представлялись мне хмурыми и недовольными: то нервно-веселыми, то какими-то пришибленными.

Дивные цветы, которыми наполняли дворцовые садовники наши гостиные, совсем меня не радовали и казались чахлыми и бледными после полных жизненными соками цветов, горами лежащими на Campo di flori и на лестнице Trinita dei Monti. А бедная моя, такая измученная худая-худая Наташа…

Стыдно было за свою жизнерадостность, за дивные дни, прожитые в тепле и солнце, глядя на нее и думая, что она все это время вот так и пролежала то в кровати, то на кресле, страдая и от ран, и от ужасно мучительных пролежней, образовавшихся от долгого лежания.

Адя был совсем здоров, он меня не узнал и стал называть тетей. Когда же я ему объяснила, что я не тетя, а та самая сестра, которая его всегда укладывала спать, он ужасно сконфузился и

весь день ходил потупившись, ни с кем не разговаривая и все повторяя себе под нос: «Грустно мне, что я не узнал Матю».

Папа я нашла менее утомленным, чем когда я уезжала, как и мама. Боязнь за жизнь Наташи улеглась, и они начали вести более нормальный образ жизни. Папа был сильно занят мыслью о выборах во вторую Государственную думу, открытие которой должно было произойти в феврале.

Глава XV

В конце 1906 года главной заботой моего отца была подготовка возможно большего количества законопроектов для внесения к открытию второй Государственной думы. Министры, не привыкшие к парламентскому строю, оказались совершенно не подготовленными к работе с думой, что выразилось в почти полном отсутствии представленных ими в первую Государственную думу законопроектов. Дума, оставшаяся без работы, занялась исключительно пустой болтовней и злостной критикой правительства.

Помню рассказ папа, как ему много пришлось поработать, чтобы приучить министров к новой тактике и созданию законопроектов. Его единственным стремлением было сразу занять членов Государственной думы и придать их работе деловой характер.

В это же время мой отец провел по 87 статье Земельный закон, опубликованный 9 ноября 1906 г.

Уничтожение общинного землевладения и переселение крестьян на хутора было мечтой моего отца с юношеских лет. В этом он видел главный залог будущего счастья России. Сделать каждого крестьянина собственником и дать ему возможность спокойно работать на своей земле, для себя, это должно было обогатить крестьянство.

При общинном землевладении крестьянин являлся лишь временным эксплоататором назначенного ему общиной земельного участка. Последние дробились, по мере прироста общины, вследствие рождаемости, на более мелкие участки. Крестьянин, как временный владелец своего участка, конечно, старался не улучшить, а наоборот, высосать землю. Кроме того, благодаря скученности жизни в деревне участки часто находились в весьма отдаленном расстоянии от дома временного владельца, расстоянии, доходившем иногда до десяти, двенадцати верст.

Все это представляло громадное неудобство для крестьян и значительное удобство для революционных агитаторов. Совместная жизнь крестьян в деревнях облегчала работу революционеров, а недостатки общинного владения давали последним столь важный козырь в руки, что им легко было перевести крестьян не только на свою сторону, но и сделать из них орудие для своих преступных намерений.

Согласно Земельному закону, вся площадь, находившаяся в общинном владении, парцелировалась и передавалась в полную

собственность каждого отдельного крестьянина с возможностью перенесения его построек из деревни на участок.

Все это производилось за счет государства.

Кроме того, на Крестьянский банк возлагалась обязанность скупки имений, парцеляции их и продажи желающим крестьянам с выплатой весьма льготной стоимости земли во много лет.

Последняя мера была особенно необходима вследствие недостатка земли у крестьян из-за прироста населения с 1861 года, когда освобожденное от крепостной зависимости крестьянство было наделено землею на правах общинного землевладения.

Чтобы подать пример помещикам, папа первый продал наше нижегородское имение Крестьянскому банку.

Недостатки общинного землевладения породили социалистов-революционеров – наиболее опасную для правительства партию. Крестьянство, распропагандированное социалистами-революционерами, в некоторой части своей стало представлять большую угрозу. 1905 год, когда почти по всей России пылали помещичьи усадьбы, подожженные крестьянами, ясно это доказал.

Проведением хуторской реформы, где каждый крестьянин становился сам маленьким помещиком, уничтожалась партия социал-революционеров. Поэтому понятно их стремление остановить реформу. Работа этой партии выражалась не только в агитации среди крестьян, часто благодаря этому противодействовавших проведению реформы, но и вообще в искусной агитации против моего отца и устройстве постоянных на него покушений.

Глава XVI

Работал мой отец далеко за полночь, обыкновенно до трех часов ночи, причем никогда днем не спал, если не считать короткого отдыха, который он себе позволял ежедневно перед обедом. Тогда он ложился у себя в кабинете на диване и немедленно засыпал на 15 минут, после чего вставал абсолютно свежим и бодрым. Утром он всю жизнь к половине девятого уже совершенно одетый пил кофе.

При такой напряженной работе была ему необходима хотя бы часовая прогулка на свежем воздухе, но каждый выход или выезд папа из Дворца был сопряжен с такой опасностью для его жизни, что прошло некоторое время, пока не был выработан план устройства таких прогулок.

Ведь хорошо было известно не только полиции, но и моему отцу, что партия социал-революционеров не прекращает готовить на него одно покушение за другим, и эта работа шла особенно усиленным темпом до 1909 года, когда деятельность революционеров несколько ослабела. В 1906 же году боевая дружина партии работала исключительно интенсивно. Не менее основательно работала и полиция, искусно открывая готовящиеся покушения.

Начальник охраны папа, разработав план прогулок и выездов, доложил, что он только в том случае может взять на себя ответственность за охрану, если папа на улице не будет давать никаких приказаний ни шоферу, ни кучеру, а будет следовать лишь по тем улицам, которые будут заранее указываться при каждой поездке.

Сначала такая постановка дела начальником охраны сильно раздражала папа, но после некоторых открытых покушений он совершенно с этим согласился.

Работа охраны Зимнего дворца была сильно облегчена массою входов и выходов из него, выходящих на разные улицы.

Выходя из дому, папа сам вперед не знал, какой подъезд будет ему указан для выхода, куда будет подан его экипаж и, если совершалась прогулка, то не знал, куда его повезут. В определенном охраной месте экипаж останавливался, папа выходил из него и совершал часовую прогулку пешком. По окончании прогулки мой отец не знал ни по каким улицам его повезут, ни к какому подъезду подвезут. Эти остановки происходили в самых разнообразных местах, обыкновенно на окраинах или за городом.

Поездки с докладом к государю, жившему зимой в Царском

Селе, а летом в Петергофе, тоже происходили разными способами и были обставлены самыми тщательными мерами предосторожности. Почти всегда папа ездил с докладом к государю вечером и возвращался около часу ночи.

Из частных лиц первые два года папа не бывал ни у кого, за исключением своей сестры Марии Аркадьевны Офросимовой.

Тетя Маша Офросимова переселилась с семьей в Петербург этой зимой и из дому совсем не выходила, так как была очень больна. Мой отец глубоко любил свою единственную сестру и, невзирая на связанную с этим опасность, ездил к ней во время ее болезни.

Через короткое время охрана открыла, что бывшая свободной квартира напротив дома тети Маши была нанята возбудившим с самого начала подозрения лицом. Когда же установили наблюдение, выяснилось, что квартира нанята террористами. После ареста человека, снявшего квартиру, он сознался, что должен был по постановлению партии социал-революционеров произвести покушение на папа. На следствии он показал, что два раза его рука подымалась для выстрела в моего отца, когда он подходил к окну, но папа оба раза был не один: один раз подвозил на кресле к окну свою больную сестру, а другой раз разговаривал с поставленным им на подоконник мальчиком и при этом так нежно с ним обращался, что рука убийцы невольно опускала револьвер.

Глава XVII

После Рождества мама стала вывозить меня в свет, но заставить меня делать визиты, ездить на балы, примерять платья и шляпы оказалось делом нелегким.

«Света» я вообще не любила, развлекаться не стремилась, а теперь, с тяжело больной Наташей, настроение стало совсем не «светское» и сердце не лежало ни к каким увеселениям.

За этот сезон было несколько красивых балов, самый удачный из которых был «tetes poudrees» во Французском посольстве.

Все дамы были на этом балу или в париках, или напудренные, что придавало залу очень оригинальный и красивый вид.

Были красивые большие балы у графини Мусиной-Пушкиной и княгини Трубецкой. Но в общем я наши петербургские балы оценила только тогда, когда уже, будучи замужем, приезжала в Петербург из Берлина.

Масса блестящих мундиров военных и огромное количество брильянтов у дам создавали картину до того блестящую, что заграничные балы с нашими и сравнивать не приходилось.

Масляница была в Петербурге самой веселой неделей, во время которой балы, представленья, катанья на тройках сменяли друг друга без перерыва.

Ровно в 12 часов ночи, в воскресенье перед постом, все прекращалось, театры закрывались, гости в частных домах разъезжались, и утомленная последней неделей молодежь, полная радостными воспоминаниями и радужными надеждами отдыхала все семь недель Великого поста.

Многие девицы кончали сезон невестами; постом готовили приданое, а на Красную горку (неделя после Пасхи) праздновалась свадьба.

При дворе в эти годы уже не бывало приемов, так что про великолепные балы в Зимнем и Аничковом дворцах я знаю лишь по рассказам старшего поколения.

Глава XVIII

Обеим императрицам ездила я представляться с моей матерью – Марии Федоровне в Гатчину, а Александре Федоровне уже весной – в Петергоф.

Поездка в Гатчину ответила вполне, с самого начала до конца, моим детским представлениям о приеме у императрицы.

Приехав из Петербурга в Гатчину в специальном вагоне, мы были встречены на вокзале придворным выездным лакеем, усадившим нас в придворную коляску.

Через несколько минут езды по городу въехали мы в ограду дворцового парка, и коляска бесшумно покатилась по мягким гладким аллеям. Вскоре среди деревьев показался большой, строгой архитектуры дворец, и нас провели через множество комнат и зал. При входе стояли огромного роста арапы в ярких декоративных костюмах.

В комнате, перед кабинетом императрицы, нас встретила ее личная фрейлина графиня Гейден, с которой мы и посидели несколько минут, пока не вышла от императрицы представлявшаяся ей дама, и нас графиня Гейден провела к ней.

Первое впечатление от императрицы-матери было: как это можно с таким маленьким ростом сочетать эту царственную величавость? Ласковая, любезная, простая в обращении Мария Федоровна была императрицей с головы до ног и умела сочетать свою врожденную царственность с такой добротой, что была обожаема всеми своими приближенными.

Меня с первого же взгляда очаровали ее глаза: глубокие, прекрасные, на редкость притягивающие к себе, и я вспомнила, как мой дедушка Аркадий Дмитриевич Столыпин, глядя на императрицу, сказал ей раз:

Du hast Diamanten und Perlen
Und alles was Liebchen begehrt,
Du hast ja die schonesten Augen…

Сказал и запнулся, заметив, что говорит «ты» в фразе, относящейся к императрице; но та улыбнулась и милостиво промолвила:

– Mes vieux sont toujours galants.

Поговорив с нами около получаса, императрица простилась, и мы, позавтракав у пригласившей нас к себе графини Ольги Гейден, вышли к ожидавшему нас экипажу.

Совсем не таким было представление императрице Александре Федоровне.

Тот же вагон, та же карета, а дальше все совсем иначе, не «по-царски», а как в имении или на большой даче какого-нибудь частного лица.

Это было весной, в «Александрии», в Петергофе.

Небольших размеров, донельзя скромно устроенный дворец только почетной охраной напоминал въезжающему, что в нем живет государь, а не помещик средней руки.

Мы вошли: ни анфилады зал, ни арапов, ни большого количества слуг. Нас провел один камер-лакей во второй этаж, в маленькую светлую, приветливую гостиную. Мебель обтянута «чинцом» с цветами, семейные фотографии, масса цветов в вазах и так мало места, что трудно было сделать положенный этикетом реверанс.

Молодая, очень красивая императрица Александра Федоровна с нервными, усталыми движеньями, одетая не только просто, но даже старомодно, говорила с мама довольно долго. Я сидела скромно и тихо, слушала и удивлялась про себя темам разговора. Почти все исключительно про детей, особенно про наследника. Императрица говорила с жаром – видно было, как эти вопросы волнуют ее, – о том, как трудно найти действительно хорошую няню, как ей страшно, когда маленький Алексей Николаевич близко подходит к морю, какие живые девочки великие княжны, как государь устает и как полезно ему пребывание на морском воздухе.

А я думала, навсегда запомнив грустные глаза и тревожную речь Александры Федоровны: какая идеальная жена и мать, и не создана она для того, чтобы быть императрицей одной из величайших стран земного шара!

Представлялась я также великим княгиням: Марии Павловне и Ольге Александровне. Мария Павловна, уже тогда не молодая, очень мне понравилась и своим элегантным темносиним бархатным платьем, и важной осанкой, и спокойной речью. А у Ольги Александровны я очень веселилась. Молодая, живая и веселая сестра государя рассказывала всякие смешные вещи и смеялась сама так заразительно, что хохотала и я, забывая, что я во дворце, на приеме у великой княгини.

Глава XIX

Эмир Бухарский, почти ежегодно проводивший в Петербурге несколько недель, неоднократно посещал моих родителей, и посещения эти были в высшей степени типичны и интересны.

В день, когда его ожидали, готовился богатый «досторхан» – восточное угощение, состоящее из массы разнообразных сладостей, которыми уставлялся целый большой стол.

Являлся эмир со своим сыном и свитой человек в двенадцать. Все были одеты в красочные восточные одеяния и говорили на своем языке.

Эмир разговаривал через переводчика с моими родителями, а сын его, воспитанник Пажеского корпуса, почтительно сидел в стороне и слушал.

Восточное воспитание требовало такого глубокого почтения сына к отцу, что юноша не смел даже сесть в лифт, когда подымался в нем эмир, а бежал рядом по лестнице.

При каждом посещении эмир делал моим родителям и раненой Наташе множество богатых подарков: шелковые ткани, чудные меха, ковры, вазы и другие предметы восточной роскоши. Во время его первого посещения папа получил от него звезду, усеянную брильянтами такой удивительной чистоты, что петербургские ювелиры не могли на них налюбоваться.

Еще роскошнее были дары хана Хивинского, тоже приезжавшего в Петербург, но реже. Подарил он моим родителям между прочим четыре громадные вазы, две из которых были из чеканного серебра великолепной работы.

Глава XX

Насколько я мало интересовалась светской жизнью, настолько с возрастающим интересом следила я за ходом жизни политической.

От папа лично лишь урывками приходилось мне слышать о чем-либо, касающемся его работы, и с тем большей жадностью ловила я каждое его слово во время тех коротких минут, которые мы проводили в его обществе.

Конечно, все интересы сосредотачивались на предстоящем открытии второй Государственной думы.

Состоялось открытие этой Думы 20 февраля 1907 года очень тихо и скромно, сравнительно с торжественным открытием Думы первого созыва. Государь на открытии не присутствовал.

Через два-три дня по неизвестным причинам провалился потолок залы в Таврическом дворце, и на то время, пока производился ремонт, заседания Думы были перенесены в Дворянское собрание.

В этом зале мой отец выступал 16 марта с большой правительственной декларацией, в которой он подробно и ясно изложил все последние мероприятия правительства, как и программу, намеченную на ближайшее будущее.

Мы с моей матерью были, конечно, в этот день в Думе. Ложи для публики были устроены не на хорах, как в Таврическом дворце, а внизу, так что мы находились очень близко к ораторам и видали и слыхали все очень отчетливо.

Декларация, громко и четко прочитанная папа, была прослушана молча и серьезно, без тех оскорбительных выкриков, к которым мы так привыкли в первой Думе, и по прочтении была покрыта шумными аплодисментами справа.

Глядя на удовлетворенное лицо папа, сходящего с трибуны под аплодисменты, невольно с облегчением вздохнула и я, слушавшая с напряженным вниманием его слова. Боже мой! Неужели наступили действительно те долгожданные дни, когда Дума и правительство смогут рука об руку работать на благо России!

Но надежды эти были напрасны и сразу разбиты, когда начал свою речь социал-демократ Церетелли, взошедший на трибуну после моего отца. Как болезненно сжалось сердце, когда я услышала его слова: снова огульное осуждение правительства, грубая хула, наглые, уже ставшие трафаретными выкрики…

Правые подняли невероятный шум, требуя от председателя остановить оратора. Председатель Головин, не обращая ни

малейшего внимания ни на возмутительную речь, ни на выкрики левых депутатов, стал требовать прекращения шума справа.

Церетелли сменили другие представители левых партий до кадетов включительно, и полились бурные потоки грязи на правительство. Когда же стремились сказать свое слово правые, левые криком и шумом мешали им высказаться.

Наконец было принято предложение о прекращении прений.

Слушая с бьющимся сердцем ораторов, я не спускала в то же время глаз с папа. Зная и понимая его, насколько это было мне доступно, я переживала с ним эти горькие минуты и сразу сознала, что не в его характере оставить дело так, что на грубые нападки он ответит и не допустит в такой момент прекращения прений.

Да. Так и есть. Папа встал и с гордо поднятой головой спокойно взошел на трибуну, и так властно и уверенно раздался его голос, что вся огромная, только что гудевшая и стонавшая от криков зала вдруг замерла.

Никогда еще папа так не говорил. Никогда не были его слова и интонация так выразительны и так полны чувством собственного достоинства, как этот раз. Речь его была коротка, и, как удары молота, упали в мертвой тишине зала, ставшие историческими слова:

– Все ваши нападки рассчитаны на то, чтобы вызывать у власти, у правительства паралич воли и мысли; все они сводятся к двум словам: «Руки вверх». На эти слова правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить тоже только двумя словами: «Не запугаете!»

Привожу всю речь, произнесенную в тот день моим отцом:

«Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной думой, но тот оборот, который приняли прения, заставляет меня просить вашего внимания. Я хотел бы установить, что правительство во всех своих действиях, во всех своих заявлениях Государственной думе будет держаться исключительно строгой законности.

Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду.

Возвращаюсь к законности. Я должен заявить, что о каждом нарушении ее, о каждом случае, не соответствующем ей, правительство обязано будет громко заявлять: это его долг перед Думой и страной. В настоящее время я утверждаю, что Государственной думе волею монарха не дано право выражать

правительству неодобрение, порицание или недоверие. Это не значит, что правительство бежит от ответственности. Безумием было бы предполагать, что люди, которым вручена была власть во время великого исторического перелома, во время переустройства всех законодательных государственных устоев, чтобы люди, сознающие всю тяжесть возложенной на них задачи, не сознавали тяжести взятой на себя ответственности.

Но надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы, от царской резиденции, волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространялись крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, или действовать и отстоять то, что было ей вверено.

Но, господа, принимая второе решение, правительство роковым образом навлекло на себя и обвинение. Ударяя по революции, правительство, несомненно, не могло не задеть частных интересов. В то время правительство задалось одной целью – сохранить те заветы, те устои, начала которых были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во вторую Думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут, волею монарха, нет ни судей, ни обвиняемых, что эти скамьи (показывает на места министров) – не скамьи подсудимых – это место правительства (Справа аплодисменты: «Браво! Браво!»).

За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей Родины, мы точно так же, как и вы, дадим ответ перед историей. Я убежден, что та часть Государственной думы, которая желает работать, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, сумеет провести тут свои взгляды, хотя бы они были противоположны взглядам правительства. Я скажу более, я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений.

В тех странах, где еще не выработаны определенные правовые нормы, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут

разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление; эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить только двумя словами: «Не запугаете» (бурные аплодисменты справа).

Впечатление, произведенное всей речью и особенно последними словами, было потрясающее. Что делалось в публике, трудно описать: всем хотелось высказать свой восторг, и со слезами на глазах, с разгоряченными лицами входили к нам в ложу знакомые и незнакомые, пожимая руки мама.

Несмотря на то, что стало ясным, что и вторая Государственная дума намерена проявлять настолько же явную оппозицию правительству, как и предшествующая, мой отец, как ни тяжело было впечатление, произведенное на него заседанием 16 марта, не допускал еще в то время и мысли об ее роспуске.

Часто приходилось слышать от разных знакомых на приемах у мама о том, что пора бросить надежды на совместную работу правительства и Думы, на что моя мать всегда отвечала:

– Мой муж, наоборот, твердо верит, что надежда эта осуществится и что общий язык будет найден.

В середине апреля папа пришел раз к обеду с сильно расстроенным лицом, а за вечерним чаем рассказывал о бурном заседании Думы, во время которого левые себе позволили речи настолько революционные, что он начинает думать о том, что вряд ли возможна будет совместная работа с людьми, занявшими по отношению к существующей власти такую непримиримую позицию.

Был в этот день внесен в Государственную думу законопроект об определении контингента новобранцев, подлежащих призыву осенью, для пополнения армии и флота. Вопрос этот представлялся настолько несущественным, что отец мой на заседание даже и не поехал.

С самого начала заседания кадеты стали выступать с речами о необходимости мирного строительства и сокращения армии. Прения приняли ожесточенный характер, и настроение становилось все напряженнее. Волнение среди депутатов всех партий достигло своего апогея, когда поднялся на трибуну кавказец Зурабов, позволивший себе заявить, что армия держится лишь для уничтожения и расстрелов рабочих и крестьян. Свою речь, пересыпанную ругательствами по адресу правительства,

Зурабов окончил призывом к армии соединиться с мирным населением и смести правительство. А когда он призвал Думу к отклонению, проекта раздались шумные рукоплескания.

Выслушав эти тяжелые оскорбления армии, выступил военный министр генерал Родигер и заявил, что считает ниже своего достоинства отвечать на подобные речи.

Теперь я заметила, что вера папа в возможность счастливого исхода борьбы с левыми элементами Думы поколебалась, и он убедился в том, что работать и эта Дума не будет, а лишь систематически и огульно будет критиковать все мероприятия правительства. Другого выхода, как роспуск ее, не представлялось, но надо было повременить, ожидая окончания нового закона о выборах, разработка которого была поручена Крыжановскому.

Плачевный пример двух первых Государственных дум ясно доказал полную несостоятельность выборной системы, которую требовалось в корне реорганизовать. Эта большая работа, конечно, не могла быть исполнена так быстро, а кроме того, у моего отца тлела еще искра надежды на то, что удастся Думу образумить.

Глава XXI

23 апреля, в день именин императрицы Александры Федоровны, в Царскосельском дворце состоялся выход, торжественное богослужение и завтрак. На этот день я была назначена дежурной фрейлиной.

Мы все фрейлины, как и остальные дамы, были в бальных платьях. По приезде во дворец меня повели в комнату, где находились дежурные фрейлины, и скоро нас всех расставили парами, и мы прошли по залам и ходам дворца в церковь, где в том же порядке простояли обедню.

Меня поразило, как истово молилась императрица Александра Феодоровна.

После обедни, мы, по выходе из церкви, прошли одна за другой перед государем, который каждой из нас подал руку.

Когда я в первый раз так вблизи увидала эту чарующую улыбку и глаза Марии Федоровны, но еще более лучистые, манящие и горящие каким-то мистическим блеском, я совсем подпала под очарование всей личности царя.

Потом был завтрак за маленькими столиками в огромной зале дворца.

Я за эту зиму в Петербурге мало кого успела узнать, так что большинство присутствующих были мне не знакомы: заметила я крупную фигуру моего бывшего кумира, графа Витте, темным пятном выделяющуюся на фоне блестящих мундиров, заметила я председателя Государственной думы Головина.

Сама я сидела рядом с министром путей сообщения князем Хилковым, необыкновенно милым старичком, разговор с которым принял довольно неожиданный оборот.

Мы, не помню, с чего это началось, стали говорить о бессмертии души, об ангелах и духах зла, о будущей жизни. Кругом стоял гул голосов, веселый смех, блестело золото мундиров и брильянты дам. В парадных красных ливреях бесшумно сновали между столами лакеи, разнося блюда и вина… а я к концу завтрака перестала даже смотреть по сторонам, всецело поглощенная разговором с моим старичком соседом на темы духовного, высшего порядка, и расстались мы весьма довольные друг другом.

Глава XXII

До лета пришлось мне присутствовать еще на двух крайне интересных заседаниях Думы, на которых выступал мой отец.

В первых числах мая был у папа лидер правых граф Бобринский, который явился специально для того, чтобы предупредить его о том, что правые члены Государственной думы под его водительством намерены внести запрос правительству, правильны ли слухи о том, что на государя императора готовилось покушение, предотвращенное полицией.

В назначенный день мы с мама отправились в Государственную думу. Сразу почувствовалась напряженная, нервная атмосфера, характерная для «больших дней». Публики масса. Бросаются в глаза пустые скамьи отсутствующих левых депутатов.

На трибуну входит граф Бобринский и просит моего отца поделиться с Думой всем известным ему о предотвращенном покушении. Свой ответ папа начинает с того, что, хотя подобный вопрос и не входит в компетенцию Государственной думы, так как в данном случае нет злоупотребления со стороны власти, но так как более чем понятно волнение русских людей при мысли о возможности покушения на особу государя императора, он не отказывается дать на предложенный вопрос исчерпывающий ответ.

Да, действительно, уже в январе было открыто сообщество, разрабатывающее план покушения на жизнь государя императора, великого князя Николая Николаевича и целого ряда высших должностных лиц. Весь состав участников арестован.

Мой отец сходит с трибуны, в зал входят толпой левые депутаты и занимают свои места. Тут же они подают запрос правительству на имя министра юстиции об обыске чинами полиции квартиры депутата Озоля.

По сведениям полиции, на этой квартире собиралась особая военно-революционная организация, поставившая себе целью пропаганду в войсках и поднятие военного бунта.

После обыска полицией были отпущены находившиеся на квартире члены Государственной думы, остальных же присутствующих арестовали.

Выслушав этот запрос министру юстиции, снова поднялся папа, пожелавший лично ответить левым, и со свойственной ему одному энергией и ясностью сказал он тут ставшую знаменитой речь.

Он сказал, что все действия полиции он берет под свою

защиту, что они законны, так как Петербург находится на положении усиленной охраны, что не его вина в том, что члены Государственной думы находят нужным участвовать в военно-революционных организациях и кончил речь решительным заявлением о том, что выше депутатской неприкосновенности он ставит охрану государства.

Непосредственно после этой речи вносится в Государственную думу предложение правительства о снятии неприкосновенности с депутатов социал-демократической партии.

И речь моего отца, и последнее предложение произвели на всех несравнимо сильное впечатление: ясно сознавалось, что участь Государственной думы предрешена, что мирная работа с ней немыслима.

Не мог этого не сознавать и мой отец, несмотря на свое горячее желание какими-нибудь путями дойти все же до возможности общей работы. Всему его существу претила мысль об изменении выборного закона, как о действии противозаконном, но другого пути не оставалось.

Если подобное нарушение закона могло вызвать недовольство в массах, то не меньше недовольства родили бы постоянные роспуски Государственной думы. Вопрос был очень трудно разрешим и очень мучил моего отца, который много об этом говорил в кругу родных и близких.

Глава XXIII

Папа очень утомился от этой зимы: ведь какие нужны были силы, чтобы выполнять свой огромный ежедневный труд в нервной атмосфере, созданной Государственной думой, вечно под угрозой покушений. И это после страшного потрясения, перенесенного осенью. А каждая минута отдыха в семье была отравлена видом своей искалеченной дочери.

Стало тепло, деревья зеленели, хотелось воздуха, простора и солнца, и никого из нас, деревенских жителей, не могли удовлетворить прогулки по «Klein» и «Gross Sibirien». Так что, когда нам папа сказал, что государь предложил ему провести лето с семьей в Елагином дворце, то восторгу нашему не было предела.

Мы часто ездили кататься на острова и всегда любовались прелестным дворцом на Елагином острове. Очаровательное белое здание издали ласкало взор своими классическими линиями, своими стройными колоннами. Приветливо шумели вокруг него вековые высокие деревья, и прелестью давнишних дней веяло от флигелей, лужаек и конюшен, окружающих дворец.

Можно себе представить, каким наслаждением было переселиться туда после жизни в Зимнем дворце!

Несмотря на свои большие размеры, Елагин дворец оказался очень уютным и, не проведя в нем и недели, мы стали себя чувствовать так, будто этот дом нам годами знаком и дорог.

Внизу находился очень красивый овальный белый зал с хорами, гостиные, кабинет и приемная папа, а также две всегда запертые комнаты, в которых живал раньше Александр III. Наверху маленькая гостиная и все спальни, а еще выше домовая церковь и две комнаты для приезжающих.

За последнее десятилетие никто из царской семьи в Елагином не жил, а раньше там любил иногда жить император Александр III и императрица Мария Федоровна, и там давались небольшие балы.

Как-то поразительно скоро обжились мы на новом месте. Конечно, Колноберже забыто не было: оно навсегда оставалось родным, «нашим», ни с чем не сравнимым домом, но и тут было очень хорошо; и взрослые, и дети – все были в восторге.

Папа мог несколько раз в день, между занятиями, выходить в сад подышать свежим воздухом, а мы почти все время проводили вне дома. Сад был огорожен колючим проволочным заграждением, и вдоль него ходили чины охраны, а снаружи стояли часовые, но все это после подобия крепости, какое являл

собою Зимний дворец и ненавидимого мною высокого деревянного забора дачи Аптекарского острова – было как-то мало заметно, мало чувствовалось в этом прелестном уголке.

Особенно красив был дворец и сад в теплую летнюю ночь, ярко освещенный сильными электрическими фонарями. С двух сторон огибал его один из рукавов Невы. Были на реке в нашем распоряжении катера и лодки, на которых мы часто предпринимали прогулки. Были в саду гигантские шаги, а мне папа купил чудную арабскую белую лошадь.

Весь Елагин остров представлял собою огромный парк с массою больших и малых аллей. Дач на нем было очень мало, и все лишь казенные, в которых жили высшие должностные лица. Конечный пункт этого парка, так называемая «Стрелка», выходящая на море, служила в то время, особенно по вечерам, целью прогулок в экипажах, верхом и пешком элегантной петербургской публики, так что мне стоило выехать только из ворот нашего сада, чтобы попасть на идеальные мягкие дороги. Ездила я с берейтором по островам, а в плохую погоду в дворцовом елагинском манеже.

Как-то, в один из первых дней, мой Феридон, по-видимому, недовольный новой наездницей, понес меня, да так, что я пропала из глаз берейтора и лишь после получасового бешеного галопа сдержала лошадь тем, что направила ее на какую-то стену.

В воскресенье к обедне съезжалось всегда много родных и знакомых, большинство которых потом у нас завтракали, что создавало совсем помещичью атмосферу. Приехала к нам, конечно, Зетинька, напоминающая Колноберже, и стала помогать м-ль Сандо и немецкой гувернантке смотреть за Еленой, Олечком и Арой, которые, почуяв почти деревенскую свободу, совсем отбились от рук. Помню такой случай: приходит за мной утром, пока я еще одеваюсь, девушка и говорит, что м-ль Сандо просит меня сойти в сад, так как «с Александрой Петровной несчастье». Очень испуганная бегу я вниз и нахожу следующую картину:

На очень высоком старом дереве, совсем, совсем наверху сидит Ара, еле белеет ее платье среди ветвей, а внизу стоят в глубоком раздумье м-ль Сандо, Зетинька и гувернантка-немка. Ара плачет, говорит, что ей ужасно страшно и что она никак вниз сойти не может. Было ей тогда лет восемь. Гувернантки волнуются, желая, чтобы это происшествие кончилось до вставанья мама и папа, теряют голову: то строго приказывают Аре слезть, то умоляют ее этого не делать и ласковыми голосами обещают ее как-нибудь снять. А та сидит, судорожно схватившись за ветки, и все повторяет: «Боюсь, возьмите меня». Наконец я догадалась вызвать пожарных с лестницей, и Ара была бережно

снесена на землю.

А Олечек отличилась и того лучше. Неожиданно за завтраком раздается ее голос:

– Папа, отчего наш сад окружен колючей проволокой?

– Чтобы злые люди к нам не влезли бы, детка.

– А как же я прошла и даже платье не разорвала?

– Ты прошла через проволочное заграждение?

– Хотите я вам покажу?

После завтрака папа, крайне заинтересованный, пошел в сад. Отправились туда все мы, дежурные чиновники и вызванный начальник охраны. Ничуть не смущенная большим количеством зрителей, Олечек объявила, что ей безразлично место, и там, где все остановились, там и согласилась она дать представление. Вмиг подобрала она ловко платье и на глазах изумленной охраны, змейкой скользнув между колючими проволоками, через минуты две очутилась, красная и сияющая, по ту сторону заграждения.

После этого начальник охраны, сконфуженно качая головой, пошел дать распоряжение сделать сеть более густой.

Глава XXIV

Хотя папа, конечно, в теплые летние дни было значительно легче работать на Елагином, чем в Зимнем дворце, он все-таки работал сверх сил. Вся его деятельность носила особенно напряженный характер весь май. Так хотелось папа верить, что Государственная дума образумится и, наконец, бросив систематическое осуждение правительства, примется за продуктивную работу.

В это время папа вел переговоры с лидерами партий, полагая единственным выходом из создавшегося положения образование Министерства общественного доверия. Ни минуты не допуская мысли о передаче власти в руки оппозиционеров и считая недопустимым государственный переворот, мой отец надеялся, что все же удастся создать новое правительство, предоставив самым видным и работоспособным депутатам несколько портфелей. Он все еще стремился связать выборных с правительством, дав им возможность работать на благо России на самых ответственных постах, но с какой грустью, весьма скоро, стал говорить папа, во время минутных прогулок по саду, что и тут, по-видимому, ничего не выйдет: легко осуждать и критиковать, а дело делать очень трудно, и все те, кто с такой легкостью и удовольствием критиковали работу министров, когда дело дошло до того, чтобы самим нести ответственность, предпочли остаться на легких ролях оппозиционеров.

Было ясно, что Государственная дума не только не шла ни на какие переговоры, но, наоборот, чем дальше, тем больше действовала наперекор правительству.

В мае был внесен подавляющим количеством членов Думы собственный законопроект земельной реформы, идущий вразрез со всеми пунктами правительственного закона. По этому вопросу папа произнес, выступая последний раз во второй Государственной думе речь, которой он старался воздействовать на оппозицию.

Речь П. А. Столыпина

(10 мая 1907 года)

«Господа члены Государственной думы! Прислушиваясь к прениям по земельному вопросу и знакомясь с ними из стенографических отчетов, я пришел к убеждению, что необходимо ныне же, до окончания прений, сделать заявление как по возбуждавшемуся тут вопросу, так и о предложениях самого правительства. Я, господа, не думаю представлять вам полной аграрной программы правительства. Это предполагалось

сделать подлежащим компетентным ведомствам в аграрной комиссии. Сегодня я только узнал, что в аграрной комиссии, в которую не приглашаются члены правительства и не выслушиваются даже те данные и материалы, которыми правительство располагает, принимаются принципиальные решения. Тем более я считаю необходимым высказаться только в пределах тех вопросов, которые тут поднимались и обсуждались.

Я исхожу из того положения, что все лица, заинтересованные в этом деле, самым искренним образом желают его разрешения. Я думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным. Я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей, спокойных и довольных, – вместо голодающих и погромщиков. Я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который, несомненно, хотя бы отчасти питает смуту. Я поэтому обойду все те оскорбления и обвинения, которые раздавались здесь против правительства.

Я не буду останавливаться и на тех нападках, которые имели характер агитационного напора на власть, я не буду останавливаться и на провозглашавшихся здесь началах классовой мести со стороны бывших крепостных крестьян к дворянам, а постараюсь стать на чисто государственную точку зрения, постараюсь отнестись совершенно беспристрастно, даже более того, – бесстрастно к данному вопросу. Постараюсь вникнуть в существо высказывавшихся мнений, памятуя, что мнения, не согласные со взглядами правительства, не могут почитаться последним за крамолу. Правительству тем более, мне кажется, подобает высказаться в общих чертах, что из бывших здесь прений, из бывшего предварительного обсуждения вопроса ясно, как мало шансов сблизить различные точки зрения, как мало шансов дать аграрной комиссии определенные задания, очерченный строгими рамками наказ.

Переходя к предложениям разных партий, я прежде всего должен остановиться на предложении партии левых, ораторами которых выступали здесь, прежде всего, господа Караваев, Церетелли, Волк-Карачаевский и др. Я не буду оспаривать тех весьма спорных, по-моему, цифр, которые здесь представлялись ими. Я охотно соглашусь и с нарисованной ими картиной оскудения земледельческой России. Встревоженное этим, правительство уже начало принимать ряд мер для поднятия земледельческого класса. Я должен указать только на то, что тот способ, который здесь предложен, тот путь, который здесь намечен, поведет к полному перевороту во всех существующих

гражданских правоотношениях, он ведет к тому, что подчиняет интересам одного, хотя и многочисленного класса интересы всех других слоев населения. Он ведет, господа, к социальной революции. Это сознается, мне кажется, и теми ораторами, которые тут говорили. Один из них приглашал государственную власть возвыситься в этом случае над правом и заявлял, что вся задача настоящего момента заключается именно в том, чтобы разрушить государственность с ее помещичьей, бюрократической основой и на развалинах государственности создать государственность современную на новых культурных началах.

Согласно этому учению, государственная необходимость должна возвыситься над правом не для того, чтобы вернуть государственность на путь права, а для того, чтобы уничтожить в самом именно корне существующую государственность, существующий в настоящее время государственный строй. Словом, признание национализации земли при условии вознаграждения за отчуждаемую землю или без него поведет к такому социальному перевороту, к такому перемещению всех ценностей, к такому изменению всех социальных, правовых и гражданских отношений, какого еще не видела история. Но это, конечно, не довод против предложений левых партий, если это предложение будет признано спасительным. Предположим же на время, что государство признает это за благо, что оно перешагнет через разорение целого, как бы там ни говорили, многочисленного образованного класса землевладельцев, что оно примирится с разрушением редких культурных очагов на местах – что же из этого выйдет?

Что, был бы, по крайней мере этим способом, разрешен, хотя бы с материальной стороны, земельный вопрос? Дал бы он или нет возможность устроить крестьян у себя, на местах? На это ответ могут дать цифры, а цифры, господа, таковы: если бы не только частновладельческую, но даже всю землю, без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надельною землею, то в то время, как в Вологодской губернии пришлось бы всего, вместе с имеющимися ныне – по 147 дес. на двор, в Олонецкой – по 185, в Архангельской – даже по 1309, в 14 губерниях недостало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих. Четвертая часть частновладельческих земель находится в тех 12 губерниях, которые имеют надел свыше 15 десятин на двор, и лишь 7-я часть частновладельческих земель расположена в десяти

губерниях с наименьшим наделом, т. е. по 7 десятин на один двор. При этом принимается в расчет вся земля всех владельцев, т. е. не только 107.000 дворян, но и 490.000 крестьян, купивших себе землю, и 85.000 мещан, а эти два последние разряда владеют до 17.000.000 десятин. Из этого следует, что поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах; придется прибегнуть к тому же средству, которое предлагает правительство, т. е. к переселению; придется отказаться от мысли наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда.

Это подтверждается и другими цифрами, подтверждается из цифр прироста населения за десятилетний период в 50 губерниях Европейской России. Россия, господа, не вымирает, прирост ее населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1.000 человек 15,1 в год. Таким образом, это даст на одну Европейскую Россию, всего на 50 губерний, 1.625.000 душ естественного прироста в год или, считая семью в 5 человек, 341.000 семей; так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 десятин на один двор, потребно было бы ежегодно три с половиной миллиона десятин. Из этого ясно, господа, что путем отчуждения, разделения частновладельческих земель земельный вопрос не разрешается. Это равносильно наложению пластыря на заморенную рану. Но кроме упомянутых материальных результатов, что даст этот способ стране, что даст он с нравственной стороны? Та картина, которая наблюдается теперь в наших сельских обществах, та необходимость подчиняться всем одному способу ведения хозяйства, необходимость постоянного передела, невозможность для хозяина с инициативой применить к временно находящейся в его пользовании земле свою склонность к определенной отрасли хозяйства, – все это распространится на всю Россию.

Все и все были бы сравнены, земля стала бы общей, как вода и воздух. Но к воде и к воздуху не прикасается рука человеческая, не улучшает их рабочий труд, – иначе на улучшенные воздух и воду, несомненно, была бы наложена плата, на них установлено было бы право собственности. Я полагаю, что земля, которая распределялась бы между гражданами и отчуждалась бы у одних и передавалась бы другим местным социал-демократическим присутственным местом, – что эта земля получила бы скоро те же свойства, как вода и воздух. Ею бы стали пользоваться, да, но улучшать ее, прилагать к ней свой труд с тем, чтобы результаты этого труда перешли к другому лицу, – этого никто не стал бы

делать.

Вообще, стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин – а между ними всегда были и будут тунеядцы – будет знать, что он имеет право заявить о желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда занятие это ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. Все будет сравнено, – приравнять всех можно только к низшему уровню. Нельзя человека ленивого приравнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень понизится. Добрый хозяин, хозяин-изобретатель – самою силою вещей будет лишен возможности приложить свои знания к земле. Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот и человек даровитый, сильный, способный – силою восстановил бы свое право на собственность, на результаты своих трудов. Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которую стояло и нравственное право.

Ведь раздача земли при Екатерине Великой оправдывалась необходимостью заселения незаселенных громадных пространств, и тут была государственная мысль. Точно так же право способного, право даровитого создало и право собственности на Западе. Неужели же нам возобновлять этот опыт и переживать новое воссоздание права собственности на уравненных и разоренных полях России. А эта перекроенная и уравненная Россия – что – стала бы она и более могущественной и богатой? Ведь богатство народов создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство, в своем целом, не приобретет ни одного лишнего волоса хлеба. Уничтожены, конечно, будут культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения они скоро обратятся в пыль и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата. Но, положим, что эта картина неверна, что краски тут сгущены, – кто же, однако, будет возражать против того, что такое потрясение, такой громадный социальный переворот не отразится, может быть, на самой целости России. Ведь тут, господа, предлагают разрушение существующей государственности, предлагают нам среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины – для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам отечество. Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где разложение – там смерть.

Теперь обратимся, господа, к другому предложенному нам проекту, проекту партии народной свободы. Проект этот не обнимает задачи в таком большом объеме, как предыдущий проект, задающийся увеличением пространства крестьянского землевладения. Проект этот даже отрицает, не признает и не создает ни за кем права на землю. Однако я должен сказать, что и в этом проекте для меня не все понятно, что и он представляется мне во многом противоречивым.

Докладчик этой партии в своей речи отнесся очень критически к началам национализации земли. Я полагал, что он логически должен поэтому прийти к противоположному, к признанию принципа собственности. Отчасти это и было сделано. Он признал за крестьянством право неизменного, постоянного пользования землей, но вместе с тем, для расширения его владений, он признал необходимым нарушить постоянное пользование его соседей-землевладельцев и вместе с тем он гарантирует крестьянам ненарушимость их владений в будущем. Но раз признан принцип отчуждаемости, то кто же поверит тому, что, если понадобится со временем отчудить земли крестьян, они не будут отчуждены, и поэтому мне кажется, что в этом отношении проект левых партий гораздо более искренен и правдив, признавая возможность пересмотра трудовых норм, отнятие излишка земли у домохозяев. Вообще, если признавать принцип обязательного количественного отчуждения, т. е. принцип возможности отчуждения земли у того, у кого ее много, чтобы дать тому, у кого ее мало, – надо знать, к чему поведет это в конечном выводе, – это приведет к той же национализации земли. Ведь если теперь, в 1907 году, у владельца, скажем, трех тысяч десятин будет отнято две тысячи пятьсот и за ним останется пятьсот десятин культурных, то ведь с изменением понятия о культурности и с ростом населения он, несомненно, подвергается риску отнятия остальных 500 десятин. Мне кажется, что и крестьянин не поймет, почему он должен переселяться куда-то вдаль, ввиду того только, что его сосед не разорен, а имеет, по нашим понятиям, культурное хозяйство.

Почему он должен идти в Сибирь и не может быть направлен, по картинному выражению одного из ораторов партии народной свободы, на соседнюю помещичью землю. Мне кажется ясно, что и по этому проекту право собственности на землю отменяется; она изъемлется из области купли и продажи. Никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены. Докладчик партии прикидывал цену на отчуждаемую землю, в среднем, по 80 рублей на десятину в Европейской России. Ведь это не может

поощрить к приложению своего труда к земле, скажем, тех лиц, которые за землю год перед тем платили по 200–300 рублей за десятину и вложили в нее все свое достояние. Но между мыслями, предложенными докладчиком партии народной свободы, есть и мысль, которая должна сосредоточить на себе самое серьезное внимание. Докладчик заявил, что надо предоставить самим крестьянам устраиваться так, как им удобно. Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодателями совершенно основательными и правильными. Пусть каждый устраивается по-своему, и только тогда мы действительно поможем населению.

Нельзя такого заявления не приветствовать, и само правительство во всех своих стремлениях указывает только на одно: нужно снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, который наиболее его устраивает. Интересно еще в проекте партии народной свободы другое провозглашаемое начало. Это начало государственной помощи. Предполагается отнести на расходы казны половинную стоимость земли, приобретаемой крестьянами. Я к этому началу еще вернусь, а теперь укажу, что оно мне кажется несколько противоречивым провозглашаемому принципу принудительного отчуждения. Если признать принудительное отчуждение, то как же наряду с этим признать необходимость для всего населения, для всего государства, для всех классов населения прийти на помощь самой нуждающейся части населения.

Почему наряду с этим необходимо с этой целью обездолить 130.000 владельцев – и не только обездолить, но и оторвать их от привычного и полезного для государства труда. Но, может быть, господа, без этого обойтись нельзя. Прежде чем изложить вам в общих чертах виды правительства, я позволю себе остановиться еще на одном способе разрешения земельного вопроса, который засел во многих головах. Этот способ, этот путь – это путь насилия.

Вам всем известно, господа, насколько легко прислушивается наш крестьянин-простолюдин к всевозможным толкам, насколько легко он поддается толчку, особенно в направлении разрешения своих земельных вожделений явочным путем, путем, так сказать, насилия. За это уже платился несколько раз наш серый крестьянин. Я не могу не заявить, что в настоящее время опасность новых насилий, новых бед в деревне возрастает.

Правительство должно учитывать два явления: с одной стороны, несомненное желание, потребность, стремление широких кругов общества поставить работу в государстве на

правильных, законных началах и приступить к правильному новому законодательству для улучшения жизни страны. Это стремление правительство не может не приветствовать и обязано приложить все силы для того, чтобы помочь ему; но наряду с этим существует и другое – существует желание усилить брожение в стране, бросать в население семена возбуждения смуты, с целью возбуждения недоверия к правительству, с тем, чтобы подорвать его значение, подорвать его авторитет, для того, чтобы соединить воедино все враждебные правительству силы. Ведь с этой кафедры, господа, была брошена фраза: «Мы пришли сюда не покупать землю, а ее взять». Отсюда, господа, распространялись и письма в провинцию, в деревни, письма, которые печатались в провинциальных газетах, почему я об них и упоминаю, письма, вызвавшие и смущение, и возмущение на местах. Авторы этих писем привлекались к ответственности, но поймите, господа, что делалось в понятиях тех сельских обывателей, которым предлагалось, ввиду якобы насилий, кровожадности и преступлений правительства, обратиться к насилию и взять землю силой. Я не буду утруждать вас, господа, ознакомлением с этими документами, я скажу только, что при наличности их, – и я откровенно это заявляю, так как русский министр и не может иначе говорить в русской Государственной думе, – можно предвидеть и наличность новых попыток приобретения земли силою и насилием. Я должен сказать, что в настоящее время опасность эта еще далека, но необходимо определить ту черту, за которой опасность эта, опасность успешного воздействия на население в смысле открытого выступления – становится, действительно, тревожной. Государство, конечно, переступить эту черту, этот предел не дозволит, – иначе оно перестанет быть государством и станет пособником собственного разрушения. Все, что я сказал, господа, является разбором тех стремлений, которые, по мнению правительства, не дают того ответа на запросы, того разрешения дела, которого ожидает Россия. Насилия допущены не будут. Национализация земли представляется правительству гибельною для страны, а проект партии народной свободы, т. е. полуэкспроприация, полунационализация, в конечном выводе, по нашему мнению, приведет к тем же результатам, как и предложения левых партий. Где же выход? Думает ли правительство ограничиться полумерами и полицейским охранением порядка? Но прежде чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а цель у правительства вполне определенна: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым,

достаточным, так как, где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода.

Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, т. е. соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь кредитом, т. е. деньгами. Теперь же надлежит немедленно браться за незаметную черную работу, надлежит сделать учет всем тем малоземельным крестьянам, которые живут земледелием. Придется всем этим малоземельным крестьянам дать возможность воспользоваться из существующего земельного запаса таким количеством земли, которое им необходимо, и на льготных условиях. Мы слышали тут, что для того, чтобы дать достаточное количество земли всем крестьянам, необходимо иметь запас в 57 миллионов десятин земли. Опять-таки говорю, я цифры не оспариваю. Тут же указывалось на то, что в распоряжении правительства находится только 10 миллионов десятин земли. Но, господа, ведь правительство только недавно начало образовывать Земельный фонд, ведь Крестьянский банк перегружен предложениями. Здесь нападали и на Крестьянский банк, и нападки эти были достаточно веские. Была при этом брошена фраза:

«Это надо бросить». По мнению правительства, бросать ничего не нужно; начатое дело надо улучшать. При этом должно, быть может, обратиться к той мысли, на которую я указывал раньше – мысли о государственной помощи. Остановитесь, господа, на том соображении, что государство есть один целый организм и что если между частями организма и частями государства начнется борьба, то государство неминуемо погибнет и превратится в «царство, разделившееся на ся». В настоящее время государство у нас хворает: самой больной, самой слабой частью, которая хиреет, которая завядает, является крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается простой, совершенно автоматический, совершенно механический способ: взять и разделить все 130.000 существующих в настоящее время поместий. Государственно ли это? Не напоминает ли это историю Тришкина кафтана – обрезать полы, чтобы сшить из них рукава?

Господа, нельзя укреплять больное тело, питая его

вырезанными из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь; в этом должно, несомненно, участвовать все государство, все части государства должны прийти на помощь той его части, которая в настоящее время является слабейшей. В этом смысл государственности, в этом оправдание государства, как одного социального целого. Мысль о том, что все государственные силы должны прийти на помощь слабейшей его части, может напомнить принцип социализма; но если это принцип социализма, то социализма государственного, который применялся не раз в Западной Европе и приносил реальные и существенные результаты. У нас принцип этот мог бы осуществиться в том, что государство брало бы на себя уплату части процентов, которые взыскиваются с крестьян за предоставленную им землю.

В общих чертах дело сводилось бы к следующему: государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, которые вместе с землями удельными и государственными составляли бы государственный земельный фонд; при массе земель, предлагаемых в продажу, цены на них при этом не возросли бы; из этого фонда получили бы землю на льготных условиях те малоземельные крестьяне, которые в ней нуждаются и действительно прилагают теперь свой труд к земле, и затем те крестьяне, которым необходимо улучшить формы теперешнего землепользования; но так как в настоящее время крестьянство оскудело и ему не под силу платить тот сравнительно высокий процент, который взыскивается государством, то последнее и приняло бы на себя разницу в проценте, выплачиваемом по выпускаемым им листам, и тем процентом, который был бы посилен крестьянину, который был бы определяем государственными учреждениями; вот эта разница обременяла бы государственный бюджет; она должна была бы вноситься в ежегодную роспись государственных расходов. Таким образом, вышло бы, что все государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждаются. В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей: чиновники, купцы, лица свободных профессий и те же крестьяне, и те же помещики.

Но тягость была бы разложена равномерно и не давила бы на плечи одного немногочисленного класса в 130.000 человек, с уничтожением которого уничтожены были бы, что бы там ни говорили, и очаги культуры. Этим именно путем правительство начало идти, понизив временно проведенным по 87 статье законом проценты платежа Крестьянскому банку. Способ этот

более гибкий, менее огульный, чем тот способ повсеместного принятия на себя государством платежа половинной стоимости земли, которую предлагает партия народной свободы. Если бы одновременно был установлен выход из общины и создана таким образом крепкая индивидуальная собственность, было бы упорядочено переселение, было бы облегчено получение ссуд под надельные земли, был бы создан широкий мелиоративный землеустроительный кредит, – то, хотя круг предполагаемых правительством земельных реформ и не был бы вполне замкнут, но виден был бы просвет. При рассмотрении вопроса в его полноте, может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении. Пора этот вопрос вдвинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед; средство это представляется смелым потому только, что в разоренной России оно создает еще класс разоренных вконец землевладельцев. Обязательное отчуждение, действительно, может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленным ныне ясными и точными гарантиями закона. Обязательное отчуждение может быть не количественного характера, а только качественного. Оно должно применяться главным образом тогда, когда крестьян можно устроить на местах. Для улучшения способов пользования ими землей оно представляется возможным тогда, когда необходимо, при переходе к лучшему способу хозяйства, устроить водопой, устроить выгон, устроить дороги, наконец, избавиться от вредной чересполосицы. Но я, господа, не предлагаю вам, как я сказал ранее, полного аграрного проекта. Я предлагаю вашему вниманию только те вехи, которые поставлены правительством. Более полный проект предполагалось внести со стороны компетентного ведомства в соответствующую комиссию, если бы в нее были приглашены представители правительства для того, чтобы быть там выслушанными.

Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этот вопрос нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций.

Вам нужны великие потрясения, нам нужна ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!»

Это была одна из лучших речей моего отца; из тех речей,

каждое слово которых, продиктованное глубоким убеждением и искренней верой в правоту своего взгляда, не могло оставить равнодушным ни одного из слушателей, а, когда были произнесены ставшие историческими слова: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» – зал дрогнул от рукоплесканий с одной стороны и от злобных выкриков – с другой.

Перед тем, чтобы решиться на роспуск Думы, мой отец постановил обождать ответа от председателя Государственной думы Головина о снятии неприкосновенности с членов Думы социал-демократической партии. Последним сроком для ответа было поставлено Головину второе июня.

Ответ последовал отрицательный, и третьего июня Государственная дума была распущена.

Одновременно с этим был опубликован именной Указ Сенату с утверждением в исключительном порядке, через Совет министров, новых правил о выборах в Государственную Думу, заменивших собой правила от 11 декабря 1905 года.

Глава XXV

После всех этих тревожных дней и работы, требовавшей от моего отца напряжения всех сил, был ему необходим хоть кратковременный, но абсолютный отдых.

Государь об этом сам подумал и предложил папа совершить прогулку по Финляндским шхерам на яхте «Нева». Лучшего отдыха придумать было невозможно – нигде, как на море, мой отец не мог бы быть настолько изолированным от всех деловых разговоров, решений, обсуждений, докладов и бумаг – от всего огромного аппарата, приводящего в движение жизнь Российской империи.

Было решено, что едем с папа и мы все, но так как яхта была очень невелика и нам должно было быть предоставлено всего пять кают, то было решено, что, кроме семьи, поедут только няня моего брата, девушка моей матери и Казимир.

Легко себе представить, как прельщала нас эта перспектива: никогда не виденное, кроме, как с берега, море: жизнь на корабле в непосредственной близости к таинственным существам, называемым «моряками», – все это манило чем-то фантастическим, напоминающим романы Жюль Верна. А кроме этого, еще полная свобода: восемь дней без учительниц, без гувернанток!

И вот, в назначенный день, 14 июня, с радостным чувством, предвкушая все это новое, невиданное, едем мы по направлению стоянки яхты. Впереди на автомобиле мои родители с тремя младшими, за ними в одной коляске Наташа и я, а за нами, тоже в коляске Елена с провожающей нас м-ль Сандо.

Исчез из глаз утопающий в зелени Елагин дворец, проехали Каменноостровский проспект с его новыми нарядными домами и длинный Троицкий мост, и мы мчимся по набережной – пустынной в это время года. Только и слышны в такт выбиваемые по торцам мягкие, тупые удары подков рысаков. Стоит чудный день (было около шести часов вечера). Вот уже виднеется «Нева», на которой нам предстоит провести восемь дней, – кругом стоит тишина, столь характерная для этой части Английской набережной.

В тот момент, когда мы останавливаемся, воздух неожиданно прорезывает свист унтер-офицерской дудки и двое матросов-фалрепных, быстро и бесшумно пробежав по сходням с яхты на пристань, застывают по ее сторонам. Встреченные командиром и вахтенным начальником, мы в торжественной тишине входим на яхту и, пройдя по палубе мимо стоящих во фронт офицеров,

входим в рубку. В это время раздается громкое «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство» – это матросы яхты отвечают на приветствие папа.

Да, действительно все так необычайно кругом меня, как я и ожидала. Наташу внесший ее на руках Казимир посадил на катающееся кресло, и я стою рядом с ней, немало растерянная новизной картины.

Очнулась я от пронзительного свиста дудок и такого топота, что мне почудилось, будто все матросы яхты внезапно стали бегать, прокричав что-то, взад и вперед по яхте. Ничего не понимая, испуганно глядим мы с Наташей друг на друга и замечаем, что нос яхты отходит сначала медленно, затем все быстрее и быстрее от пристани, и весь корабль, разворачиваясь, приближается к середине Невы, по которой быстро, идя по течению, устремляется к морю.

Первый раз я на море, и невольно шевелится тревога, как перенесу я его? Так много страшного пришлось и читать и слыхать о качке и морской болезни.

Но ласково и приветливо встречает нас море; я смотрю на него, не двигаясь, не спуская с него глаз и с наслаждением отдаваясь убаюкивающей, тихой и мерной качке, ласкающему ветерку, всей шири и свободе этой необъятной дали. Легкие наполняются ни с чем несравнимым по чистоте воздухом. Боже, как хорошо, как спокойно на душе, как близко к Богу! Ничего не хочется, ничего не надо, далеки мирские заботы, печали и тревоги, а в голове одна мысль: как хорошо это для папа и как он отдохнет. Всегда бы так смотреть в даль и отдаваться всем существом своим ритму корабля, разрезающего волны…

А маленькие сестры в это время носились по всей яхте, всюду совались, все хотели знать, всех расспрашивали – и к вечеру уже успели выучить несколько морских терминов, которыми щеголяли перед папа, мама и мною, страшно радуясь, когда мы их не понимали и переспрашивали, что они там говорят.

Не успели мы разместиться по отведенным нам уютным, чистым особой корабельной чистотой каютам, как нас позвали обедать.

Аппетит на море большой, мы себя ждать не заставили, и большая, светлого полированного дерева, с мягкими синими кожаными креслами столовая мигом наполнилась нашей семьей и офицерами яхты. За длинным овальным красиво сервированном столом, с сидящим во главе командиром, сразу завязалась веселая беседа, и к концу обеда мы так хорошо успели все познакомиться друг с другом, будто век плавали вместе.

Все было удивительно, все иначе, чем на суше, но

удивительнее всего были папа и мама. Я смотрела на них и не узнавала: они оба помолодели, повеселели, ожили так, что совсем, совсем изменились. Улыбающиеся, спокойные, они не расставались друг с другом и, как сами говорили, переживали второй медовый месяц. О нас, детях, будто и позабыли, – несколько взглядов, вопросов в сторону маленьких, а потом снова разговоры и прогулки по палубе вдвоем, будто не могли они насладиться возможностью свободно разговаривать, свободно двигаться, жить «своею» жизнью…

Все путешествие, или скорее прогулка, прошло интересно и весело. На яхте играли в корабельные игры, разговаривали, читали. Когда шли близко от берега, любовались прелестными видами Финляндских шхер, а когда съезжали на берег, делали всей компанией большие прогулки. Такие остановки были сделаны в Гельсингфорсе, где мы осматривали город, очень интересовавший моего отца. Странно было так близко от Петербурга гулять по городу совершенно иностранного типа, являющемуся все же столицей страны, входящей в состав Российской империи.

Второй нашей остановкой был Ганге, прелестный курорт, подходя к которому я с удивлением увидала огромное количество каких-то странных лодочек, управляемых гребцом, работающим одним веслом на обе стороны. Мне объяснили, что это байдарки, служащие одним из любимых видов спорта в этих местах.

В Ганге произошел случай, вызвавший наш быстрый уход оттуда. Во время стоянки нашей яхты у стенки пытался пробраться на яхту какой-то штатский.

Схваченный охраной, сопровождавшей моего отца, он оказался революционером.

Из этого видно, как хорошо была поставлена у террористов слежка за папа, который вышел из Петербурга в плавание на яхте в строжайшем инкогнито.

Самой красивой нашей стоянкой было трехдневное пребывание на Гангутском рейде. Офицеры нам рассказывали, что на этом рейде было в 1714 году знаменитое морское сражение, где наш флот под личным командованием Петра Великого разбил шведский флот. Когда я слушала эти рассказы, передо мной одна за другой вставали картины героического прошлого, но скоро их вытеснила прекрасная действительность. Солнце грело так нежно, море так ласково, точно играя, окатывало волнами прибрежные скалы, что и мрачные скалы эти и темный хвойный лес, казалось, улыбались и радовались летнему дню, как и мы все.

За дни нашей стоянки мы совершили целый ряд прогулок и

пикников. Все мы полюбили этот рейд и с грустью через три дня снимались с якоря.

Из Гангута мы пошли открытым морем, мимо Гогланда в Бьерке. Как красив этот таинственного вида остров со спускающимися в море скалами, сплошь покрытыми густыми лесами.

Гогланд скрылся. Белую северную ночь осветила луна. Вода переливалась самыми удивительными серебристыми цветами. Все наши уже ушли спать, но я, выйдя посмотреть на море перед сном, стояла, очарованная его красотами, и не могла оторваться. Как откровение, открылось мне все величие моря, я поняла его «изнутри», я не то что полюбила, но вдруг ощутила его.

Неожиданно меня озарила мысль, как молитва осветившая мою душу: Господи, ведь море это единственное, что осталось нетронутым, таким, каким оно вышло из рук Творца. Оно девственно-чисто, на нем лежит печать Божьего слова, оно таково, каким было в момент, когда над бездной раздались Божьи слова: «Да отделятся воды от суши».

Всю землю Бог создал и богатой и прекрасной, но человек своим упорным, кропотливым, своим таким, часто ненужным, бессмысленным трудом – испортил Божье Творение, снизив до своего уровня несчастную обагренную кровью землю. И море видало много грехов людских – волны его бороздили пираты, слышало оно канонады современных боев. Много жизней погребло оно в лоне своем. Это конечно так – но осталось оно при этом тем, чем было – гордо равнодушным к людским достиженьям и преступленьям, живущим своей жизнью, не хранящим на челе своем ничего напоминающего о людской мелочности, позорящего его вечную красоту.

Вот почему, глядя на море, я чувствовала, как я возвышаюсь душой и приближаюсь к Богу: так же, как, созерцая творения гения, человек способен подняться до пониманья его.

Глава XXVI

За эти восемь дней плавания решилась моя судьба, и хотя ничего еще не было сказано, но бывают чувства яснее слов, и в душе я бесповоротно знала, что рано ли, поздно ли, но я буду женой одного из офицеров «Невы» лейтенанта Б. И. Бок.

Вернувшись на Елагин, я уже не могла больше втянуться в свою всегдашнюю жизнь – все, не относящееся к моему молодому счастью, казалось теперь тусклым, ненужным и совершенно неинтересным.

Через несколько дней папа решил позвать всех офицеров яхты к нам на обед, чтобы отблагодарить за радушное гостеприимство, оказанное нам на «Неве».

Обед был устроен на террасе дворца. Прелестна была эта терраса с видом в сад, с цветниками и рекой за ними, оживленно снующими по ней катерами и лодками. А за рекой эффектно выделялся среди густой листвы деревьев белый Каменноостровский театр с колоннами. Поодаль, в ресторане «Фелисиена», по вечерам играла музыка, и эти, издали долетающие сюда звуки часто пошлых ресторанных мотивов, тая в летнем вечернем воздухе, казались нежными и поэтичными.

Были у нас офицеры с «Невы» еще раз, на именинах моей матери. В этот день мы ставили после обеда спектакль, текст к которому был написан Наташей; сама она исполняла в нем сидячую роль (ее раненые ноги не позволяли ей даже стоять).

Представление прошло с инцидентом, сильно огорчившим бедную Наташу, ревниво следящую за тем, чтобы ее произведения и разучивались и разыгрывались безукоризненно; а тут Елена, смутившаяся многочисленной публикой, посреди своего главного монолога вдруг запнулась и, покраснев, на всю залу сказала: «Матя, как дальше?» Я ей из-за кулис подсказала, и дальше все пошло гладко. Но ни гром аплодисментов по окончании спектакля, ни щедро расточаемые по адресу автора комплименты не смогли утешить бедную Наташу: она считала, что ее пьесу провалили, и была глубоко несчастна.

Я так полюбила Елагин, что стала умолять папа остаться там и на зиму. Папа мне ответил, что и ему здесь очень нравится и что провести зиму в этом дворце, среди парка, было бы блаженством, но, кроме того, это было бы непростительным эгоизмом, так как это заставляло бы всю массу людей, имеющих до папа дело, ездить зимой из города в эту даль, когда к тому же нет больше сообщения по воде. Летом – другое дело: большинство должностных лиц сами на даче и многие из них на

том же Елагином острове.

В августе приехала гостить к нам тетя Анна Сазонова и в сентябре увезла меня снова за границу, так как доктора считали для меня необходимым второй курс лечения в Сальсомаджиоре.

Невестой я еще не была, но и мои родители, как и я, чувствовали, что это дело решенное, а пока я, хотя и очень неохотно, подчинилась велению их и докторов и уехала на два месяца подкрепить свое здоровье в Италию.

На этот раз мы ехали через Венецию, где назначена была встреча с дядей и тетей Столыпиными, с которыми я и должна была ехать в «Салсо».

Я их знала сравнительно очень мало, так как жили они до сих пор в своем саратовском имении. Теперь же дядя Александр Аркадьевич стал постоянным сотрудником «Нового времени» и поселился в Петербурге. Был у них один сын, намного моложе меня.

После путешествия до Александрова в вагоне-салоне мы пересели с тетей Анной в заграничный поезд и ночью следующего дня были в Венеции.

Приезд в таинственную Венецию с ее гондолами, темными водами каналов, сказочными дворцами и тишиной, полной шепотом веков, поразил меня больше даже, чем я ожидала, и вся эта феерия захватила меня своим очарованием.

С дядей, тетей и с моим двоюродным братом мы сразу сошлись и подружились, и мне с самого начала до конца пребывания было с ними на редкость легко и хорошо. Потом их дом в Петербурге стал для меня самым родным и близким после родительского.

В Сальсомаджиоре они завели себе сразу много знакомств с различными милыми лечащимися там русскими, со многими из которых сошлась и я. Мы делали большие прогулки вместе, ходили друг к другу в гости и даже в «ингаляционный» зал отправлялись компанией. Последнее было чуть ли не самым забавным.

Огромный зал, уставленный соломенной мебелью, заполнялся какими-то призраками в белых балахонах, гуляющими и сидящими в густейшем целебном тумане. Когда мы надевали эти белые халаты и платки на голову, мы должны были отдавать все находящиеся на нас золотые вещи на хранение, так как йодистые пары, которыми наполнялась зала, разъедали не только платья, но и металлы.

Мои родители, предвидя скорую перемену моей жизни, еще заботливее относились ко мне, и я получала очень много писем из дому, причем сам папа находил время написать мне несколько

раз длинно и подробно.

За время моего отсутствия Наташе сделана была операция. Через тринадцать месяцев после ранения доктора убедились в том, что в таком виде ноги действовать не могут, и предложили искусственно сломать кости и потом попробовать срастить их более правильно.

И вот, пролежавшую целый год бедняжку подвергли этой тяжелой операции. Результаты, слава богу, сказались скоро: выпрямленные ноги стали действовать, и она уже перед Рождеством ходила на костылях.

Обо всех мучениях моей сестры я узнавала лишь по письмам, сама блаженствуя под небом Италии.

Кончив курс лечения в Салсомаджиоре, дядя Саша решил поехать, до возвращения в Петербург, куда-нибудь на «Nachkur», и выбор его пал на прелестный уголок итальянской Ривьеры – Санкта Маргарита. Прельстило его при выборе этого места больше всего его название.

– Ты только подумай, – говорил он, – Маргарита уже сама по себе какое красивое имя, а тут еще святая. Место с таким названием не может не быть раем.

Он оказался прав: мало на земле мест лучше Санкта Маргариты. Типичный маленький итальянский городок (я говорю про 1907 год) со всем беспорядком и несравнимым очарованием итальянских селений, с черноглазыми растрепанными, но живыми, как ртуть, итальянками; с маленькой, всегда гостеприимно открытой церковью, где перед ярко раскрашенной статуей Мадонны вечно видны молящиеся.

Городок этот омывается голубым морем, волны которого с шумом разбиваются о высокие скалы, а с другой его стороны виднеются теряющиеся в облаках горы. И всего две гостиницы, в это время года полупустые.

Да, название не обмануло, и Санкта Маргарита действительно оказалась райским уголком.

Оттуда поехала я в Рим и в декабре домой, в Петербург. В Риме было так же хорошо, как и в прошлом году, но я переживала тогда единственную в жизни пору, когда всем существом готовишься к предстоящей перемене жизни и живешь настолько эгоистично своим счастьем, что все окружающее как-то отодвигается от тебя. И поэтому Вечный город меньше говорил моему сердцу, чем в прошлом году.

В ноябре, читая об открытии третьей Государственной думы, я была глубоко счастлива за папа. Я читала и слышала о том, что, по-видимому, выборы на этот раз оказались удачными и представителями народа стали люди, действительно достойные

его доверия, стремящиеся к работе, а не к одной лишь пустой критике, и сердце наполнялось надеждою на счастливое развитие России.

Уехала я на этот раз уже одна, как «взрослая». Ехала через Вену и Варшаву, куда за мной был послан вагон. В Варшаве надо было проехать через город от одного вокзала на другой, и те несколько часов, которые я провела в этом городе, оказались для меня настоящей пыткой.

При выходе из заграничного вагона, доходящего до Варшавы, меня встретил какой-то генерал с огромным букетом красных роз, чем меня так смутил, что я готова была провалиться сквозь землю. Пришлось с этим генералом и букетом в руках проехать в открытом экипаже через всю Варшаву.

На Петербургском вокзале, встреченная с огромным почетом жандармами и полицией, через царские комнаты «проследовала» в свой вагон. Кроме всей страшно меня смущавшей внешней стороны моего кратковременного пребывания в Варшаве, чувствовала я себя сильно взволнованной рассказами моего спутника-генерала о последнем заседании Государственной думы, во время которого, обсуждая военное положение и говоря о казнях, Родичев нанес личное оскорбление моему отцу.

Папа послал ему тут же своих секундантов. Через короткое время, когда папа прошел в так называемый «Министерский павильон», куда удалялись члены правительства в Думе для отдыха, явился туда Родичев и принес моему отцу извинение. Мне потом рассказывал один из присутствующих при этом, как мой отец, выслушав Родичева, с головы до ног смерил его высокомерным взглядом и ясно и раздельно очень громко произнес:

– Я вас прощаю.

Когда я приехала в Петербург, там все еще были под впечатлением происшедшего, и дома только и было разговору об этом случае, тяжело отразившемся на моем отце.

Наташа училась ходить на костылях и немного окрепла. Цвет лица ее уже не был таким прозрачно-белым, успевшие отрасти волосы придавали ей более взрослый вид.

После Рождества Б. И. Бок официально просил моей руки у моих родителей, они дали согласие на наш брак, и 2 февраля по этому случаю был отслужен торжественный молебен в присутствии родственников с обеих сторон. Не только мне, но и всем моим очень понравилась семья моего жениха, а я сразу почувствовала, что этот дом будет моим вторым родительским домом.

Когда папа в тот же вечер на докладе у государя рассказал о

нашей помолвке, государь сказал, что хорошо знает моего жениха и поздравляет меня с отличным выбором.

Глава XXVII

Время от второго февраля по двадцать первое апреля прошло, как полагается, в визитах, поздравлениях, приемах, примерках у портних и катаньях по магазинам. Но я была так бесконечно счастлива, что не замечала ни утомления, ни скуки от этой суеты и весь день жила ожиданьем минуты, когда вечером приедет мой жених и мы после обеда вдвоем удалимся в фонарь, выходящий на Дворцовую площадь, в котором была моя маленькая гостиная. Это тот фонарь, из которого императрица Александра Федоровна, супруга Николая I, смотрела на бунт декабристов.

Глядя на наши сияющие лица, улыбались счастливой улыбкой папа и мама. Младшие сестры с жадным любопытством разглядывали нас, а м-ль Сандо, Зетинька и старая прислуга растроганно нас поздравляли.

Даже строгие, ворчливые дворцовые лакеи смотря на нас, сочувственно улыбались и ласково провожали глазами, когда мы после обеда совершали бесконечные прогулки по залам Зимнего дворца.

Папа каждый раз, когда видел меня, нежно гладил меня по голове и повторял: «Только была бы ты счастлива, девочка моя».

Как сон пронеслись эти десять недель. Я усердно изучала морские термины и типы кораблей, но, когда на одном из приемных дней моей матери меня принялся экзаменовать генерал Линевич, я провалилась в пух и прах, и он шуточно-строго сказал мне: «В среду, через неделю, я снова буду у вашей матушки, и если вы к тому времени не подучитесь, то пеняйте на себя: ваш брак разрешен не будет». Хорошо, что генерал забыл свое обещание, так как морская наука мне окончательно не далась.

Мой жених, назначенный морским агентом в Берлин, уезжал на короткое время в Германию, чтобы принять дела от своего предшественника князя Долгорукова и все приготовить для нашей там жизни.

Свадьба наша была назначена на 20 апреля, но незадолго до этого узнали мы, что в этот же день будет венчаться великая княжна Мария Павловна, выходившая замуж за шведского принца, герцога Зюдерманландского. Свадьба предполагалась очень торжественная, и, конечно, мои родители должны были присутствовать на ней, почему пришлось перенести мою свадьбу на 21 апреля.

Хотя я и была назначена дежурной фрейлиной на свадьбу Марии Павловны, я просила освободить меня от участия на этом торжестве – хотелось провести дома последний вечер перед

собственной свадьбой.

Но на большом парадном обеде в честь высочайших жениха и невесты я была. Никогда еще не видала я такого большого стола, такого количества родных с обеих сторон.

Церемониал обеда был самый торжественный. Великие князья в андреевских, великие княгини в екатерининских лентах через плечо. Высшие придворные чины исполняли исторические функции, связанные с их званием. Так, обершенк граф Строганов должен был наливать вино государю. Помню, как он перед обедом шутя говорил, насколько он волнуется, боясь не справиться со своими сложными обязанностями.

После обеда, рядом с обеденным залом, был «Cerele», как это всегда устраивается после парадных обедов. Все приглашенные стоят в зале, оставляя посередине пустое место для членов императорской и королевской семей, которые, подходя по очереди то к одному, то к другому, разговаривают с приглашенными.

Этикет требует при разговоре с высочайшими особами придерживаться следующего правила: никогда не задавать вопросов, а лишь отвечать на то, о чем спрашивают вас. Нечего прибавлять, что, конечно, первому заговаривать нельзя.

Не знаю, что случилось со мной, но я, обыкновенно такая застенчивая, когда императрица Александра Федоровна говорила с мама, вдруг вмешалась в разговор.

Я стояла рядом со своей матерью и с восторгом смотрела на молодую императрицу, поразительно красивую и эффектную в светлом платье, сверкающую брильянтами. Она представлялась мне феей из волшебной сказки. Теперь это была не та женщина, обманувшая мои детские мечты, которую я видела в Александрии, а красавица русская царица во всем величии своего сана.

Обменявшись несколькими незначительными фразами с мама, императрица замолкла. Молчала, следуя этикету, и мама. Я взглянула на императрицу и вдруг сразу поняла, до чего ей мучительно это молчание. Красные пятна появились на ее щеках, и видно было, как она ищет тему, не находит ее, а отойти, поговорив лишь минуты две, не хочет.

Тут на меня и нашла вдруг храбрость, и я, как-то инстинктивно стараясь помочь императрице выйти из создавшегося положения, незваная-непрошеная, сказала какую-то фразу. Сказала… и испугалась. Но императрица, повернувшись в мою сторону и, как мне показалось, облегченно вздохнув, улыбаясь промолвила:

– Ah! oui c'est votre fille (Ах! Это ваша дочь), – а потом,

обращаясь прямо ко мне, сказала:

– Vous etes fiancee, n'est ce pas? Je connais votre fiance et vous felicite de votre choix (Вы невеста, не правда ли? Я знаю вашего жениха и поздравляю вас с выбором).

Тут я уже окончательно не выдержала и ответила ей такой подробной фразой и с таким сияющим лицом, что и она вся просветлела и задала мне еще несколько вопросов, после чего, дав мне поцеловать свою руку, улыбнулась мне ласковой доброй улыбкой.

Глава XXVIII

Венчание наше происходило в домовой церкви нашего дома на Фонтанке, где мы провели первые после взрыва дни и где потом несколько лет жили и мои родители. Посаженными родителями я пригласила тетю Анну Борисовну Сазонову и дядю Александра Аркадьевича Столыпина, а мальчиком с образом был мой брат. Ему тогда было пять лет, и он был неимоверно горд возложенной на него обязанностью. В церковь вошел он важно, держа большую икону прямо перед собой. Он шел передо мной, входившей под руку с моим посаженным отцом.

Когда мы вошли в церковь, дьякон подошел к Аде, чтобы, как полагается, взять у него икону. Но маленький брат ужасно на это обиделся, вцепился в икону обеими ручонками и сказал, что ни за что ее не отдаст. Пришлось мне, несмотря на торжественную минуту, наклониться к Аде и строго велеть ему отдать образ отцу дьякону.

Венчал нас всеми нами любимый отец Капитон. Когда-то я мечтала о том, что ни за что не буду венчаться в другой церкви, как Кейданская, у нашего старого отца Антония, но от этого пришлось отказаться, так как, конечно, папа не мог поехать в Колноберже.

Торжественный чин венчания, поздравления, шампанское в залах около церкви, множество милых, родных, улыбающихся мне лиц – все прошло как сон, и ясно помню я лишь момент, когда мы с моим мужем преклонили колени перед моими родителями, встретившими нас с образом и хлебом солью в большой гостиной Зимнего дворца. И на всю жизнь запомнила я проникновенно строгое и одновременно ласковое лицо папа, когда он поднял икону, благословляя нас.

А вечером, после семейного обеда, мы уехали, следуя моему желанию, в Колноберже.

Ехали мы в салон-вагоне, войдя в который я ахнула от восторга: вся гостиная этого вагона была превращена в сплошной цветник. Было это поразительно красиво. Поставили туда заботливые руки многочисленные, полученные мною корзины с цветами, не подозревая, что уже до того железнодорожное управление, со своей стороны, украсило всю гостиную вагона. Один из кустов махровой сирени, посланный великой княгиней Милицей Николаевной, несмотря на войну, до сих пор сохранился в имении моего мужа, в Литве.

В Кейданах на вокзале нам была передана телеграмма: «Приветствуем дорогих детей в родном гнездышке. Папа, мама», а

потом нас повезла четверка знакомых, но постаревших и разжиревших лошадей, к разукрашенному зеленью и флагами родному колнобержскому дому.

Каким счастьем было показывать все и всех, любимых мною с рождения, моему мужу. Мы гуляли, катались, объехали соседей и провели в тиши и спокойствии первые десять дней нашего медового месяца.

Из Колнoберже поехали мы к месту служения моего мужа, в Берлин.

Глава XXIX

Меня немного пугала мысль играть самостоятельную роль в берлинском международном обществе дипломатического корпуса. То, что я видала из этой жизни в Риме, было мне так чуждо, и так многое казалось построенным на протоколе и этикете, что я боялась показаться моим новым знакомым маленькой провинциалкой.

Ведь я сравнительно мало выезжала и в Петербурге и в Риме, а Саратов был плохой подготовкой к светской заграничной жизни. Но были мы встречены и нашим посольством и иностранцами удивительно радушно и очень скоро приобрели и тут и там много друзей. Мне очень много помогла моя давнишняя знакомая Елизавета Эдуардовна Фан-дер-Флит, рожденная графиня Тотлебен.

Помню я ее с самого моего рождения в Кейданах и Колноберже, и было так приятно иметь возможность во всех затруднительных случаях обращаться к близкому человеку. Ее муж был первым секретарем при нашем посольстве, и они уже несколько лет жили в Берлине.

Нашим послом в те годы был граф Остен-Сакен, о котором стоит сказать несколько слов. Было ему тогда уже свыше восьмидесяти лет, и по своему внешнему виду, манерам и мировоззрению он являлся типичным представителем исчезающего поколения «дипломатов-гран-сеньоров».

Маленького роста, с бакенбардами, всегда в высшей степени тщательно одетый, всегда говорящий на изысканно-элегантном французском языке, граф Остен-Сакен был убежденным приверженцем всех традиций доброго старого времени.

Обладая очень большим состоянием, он имел возможность обставить свою жизнь согласно своим идеалам. Его кухня, сервировка, приемы были знамениты на всю Европу. Особенно славилось убранство его обеденного стола. Цветы сменялись к каждому завтраку и обеду и были всегда подобраны и устроены с таким вкусом, что многие дамы, жены дипломатов иностранных держав, пускались на всякие уловки, чтобы узнать, где доставал цветы русский посол. Но это оставалось секретом даже для нас, членов посольства, и мы диву давались сюрпризам, вроде следующего: вдруг, среди зимы, весь стол украшали полевые цветы.

Нас, молодых посольских дам, он держал в ежовых рукавицах, делая нам замечания при всяком нарушении правил приличия. А эти правила, по его кодексу, были так строги, что он,

например, искренно негодовал, когда я пошла с моим мужем поужинать после театра в ресторан гостиницы «Бристоль».

– Действительно, – сказал он мне, – можно подумать, что вы, как это называется, белены объелись, чтобы делать такие сумасшествия. Как это вам не противно есть в зале, полной незнакомого вам народу? Бог знает, что это за люди. И чувствовать запах разных блюд, уже не говоря о табаке, отравляющем воздух. Вы кушаете мороженое, а с соседнего стола доносится запах жаркого!

Раза два-три в неделю весь состав посольства с женами завтракал или обедал у Остен-Сакена, а холостые секретари ежедневно, без приглашения, могли являться к завтраку и обеду, надо было только за полчаса предупредить об этом буфетчика, так как готовилось всегда на 12 человек. Обыкновенный обед состоял из шести, завтрак из пяти блюд. Шампанское подавалось к каждому завтраку и обеду.

Сам посол очень мало ел, большею частью лакей подносил ему блюдо для того лишь, чтобы он мог посмотреть, «правильно ли оно приготовлено», говорили мы смеясь – и уносил его обратно в кухню, если за столом не находился кто-нибудь из молодых секретарей, с наслаждением уплетавший за обе щеки изысканные творения повара-француза.

Кроме этого повара и двух его помощников, были у Остен-Сакена собственные домашние булочник и кондитер и целый сонм лакеев. Даже если он обедал один, чего он очень не любил, посол иначе как во фраке к обеду не выходил.

На первый же обед, на который мы были приглашены в посольство, мы опоздали на несколько минут. Когда я вошла в гостиную, вставший мне навстречу посол во всеуслышание сказал:

– За границей не принято опаздывать.

Как мне ни неприятно было это замечание, пошло оно мне впрок, и я приучилась минута в минуту являться на приглашения.

Граф Остен-Сакен очень любил, когда мы все – и дамы и мужчины – навещали его. Он всегда говорил, что мы его семья, и действительно: и журил, и баловал он нас чисто по-отечески.

Посол в то время был уже очень стар и весьма берег свое здоровье, выезжая из дому зимой лишь в экстренных случаях. Бывало это или когда ему приходилось ехать во дворец, или при проезде через Берлин императрицы Марии Федоровны.

Императрица очень любила старика и всегда весело улыбалась, видя из окна вагона типичную фигуру с поднятым воротником, держащую носовой платок перед ртом и носом.

Император Вильгельм тоже очень ласково относился к Остен-

Сакену, любил подолгу с ним беседовать и, если встреча происходила где-нибудь на открытом воздухе, подойдя к нему, шутя, еще выше подымал его воротник и запрещал ему говорить на морозе.

Помню, как посол раз после приема во дворце говорил мне:

– Искусству разговаривать с высочайшими особами нужно научиться.

Помню, как нас, молодых дипломатов, учили старики в начале моей карьеры. Ведь представьте себе, до чего трудно, скучно и утомительно высочайшим особам задавать бесконечное число вопросов. Вот тут и надо уметь ответить. А именно ваш ответ непременно должен содержать в себе тему для следующего вопроса. Помните это правило. Нас даже заставляли в этом упражняться.

За месяц приблизительно до нашего приезда скончалась графиня Остен-Сакен. Были они бездетны и всю жизнь нежно любили друг друга. Граф после смерти жены был безутешен. До того по ней горевал, что не мог решиться расстаться с ее телом, которое простояло несколько недель в запанном гробу в комнате за домовой посольской церковью, где Остен-Сакен уединялся ежедневно на несколько часов.

Вспоминается тут один оригинальный случай, о котором мне рассказывали очевидцы. В первые дни, когда гроб стоял открытым, члены посольства и другие православные друзья покойной поочередно читали над ней псалтырь.

В двенадцать часов ночи на смену пришла баронесса В., русская по рождению, жена одного иностранного дипломата. Сменила она жену нашего секретаря и состоявшего при императоре Вильгельме генерал-адъютанта Илью Леонидовича Татищева. Была она дамой немного странной, увлекалась спиритизмом и проповедывала «культ танцев». Танцевала, когда впадала в транс. А тут еще возбудил подозрение принесенный ею пакет, который она старалась держать так, чтобы его не заметили. Татищев решил за ней проследить. Заглянув через очень короткое время в церковь, он увидел баронессу уже переодевавшейся в цветные одеяния и готовую начать символические танцы вокруг гроба. С трудом удалось ее увести из церкви и отправить домой.

Когда Остен-Сакен путешествовал, это было настоящее переселение народов, и поездки эти напоминали путешествие сановников прошлого века.

В конце февраля он ежегодно уезжал в Монте-Карло, а к шестому мая обыкновенно переселялся в Висбаден, где по случаю дня рождения государя бывал парад.

Хотя он останавливался в гостиницах, но брал с собою целую

плеяду поваров и лакеев. Занимал он ряд комнат и, конечно, не спускался в ресторан, как бы хорош он ни был. В свои комнаты допускал он лишь свою прислугу, и готовил ему в гостинице только его собственный повар. В Висбаден сопровождало его почти все посольство, и мы там так же, как в Берлине, приглашались к нему к завтракам и обедам.

Красиво и торжественно обставлял граф Остен-Сакен Рождество и Пасху. Весь личный состав посольства с женами получали от него подарки. Да какие подарки! Все драгоценности от Фаберже.

Приезжал из Петербурга по телеграмме посла специально посланный знаменитым ювелиром его служащий с ящиком всяких драгоценностей. Посол наедине с ним с любовью, умея выбрать именно то, что каждому из нас доставляло удовольствие, откладывал себе нужное количество подарков. Мы же как дети радовались вперед сюрпризам. Ценность подарка возрастала по мере продолжительности пребывания члена посольства в Берлине. Причем, начиная с красивых запонок, посол кончал подарками вроде серебряного столового сервиза.

Апогеем его гостеприимства и роскоши были вечера, которые он при нас возобновил на второй год после кончины графини.

Самым великолепным из этих приемов был вечер-концерт, на который было разослано несколько сот приглашений. Участниками концерта были местные знаменитости, но гвоздем всего был хор балалаечников под управлением знаменитого Андреева, выписанного послом из Петербурга, и всемирно известный тенор Смирнов, выписанный из Монте-Карло. На вечере присутствовало много высочайших особ.

Наше посольство – прекрасный особняк на Unter den Linden, бывший дворец императора Николая Павловича, сияющий тысячами огней и благоухающий ароматом цветов, казался в такой вечер волшебным замком. И как в сказке, на каждой ступеньке большой мраморной лестницы стояли лакеи в коротких панталонах, белых чулках и великолепных ливреях с гербами графа Остен-Сакена. Эти ливреи составляли гордость графа и вынимались только в самых парадных случаях.

Весь концерт прошел блестяще, но когда последним номером выступил Андреев со своими балалаечниками, все предшествующее было забыто. Андреева еще на Западе не знали, и это его первое выступление положило начало его европейской славе. Таким близким и родным повеяло на нас от этих звуков, и русская удаль, в таком мастерском исполнении наших песен, так заразила своим задором иностранцев, что все присутствующие без различия национальности, забыв этикет, слились в общем

выражении подлинного восторга. А очаровательная, всеми любимая кронпринцесса, наклонясь вперед, с пылающими щеками и блестящими глазами, аплодировала больше всех. «Вот русская кровь сказалась», – говорили кругом. И тут же она пригласила Андреева с хором дать на следующий вечер концерт в ее дворце.

Венцом вечера был горячий ужин, которым посол угостил несколько сот своих приглашенных, чем перещеголял берлинский двор.

Несмотря на то, что наши отношения с Германией к концу жизни графа Остен-Сакена уже успели сильно испортиться, старый дипломат этому не верил или, быть может, не хотел верить. Он, не замечая признаков охлаждения, начавших проявляться уже с 1907 г., упрямо верил в нерушимость дружбы обеих империй, зная, что поколеблись эта дружба, поколеблется и мир в Европе. А проявления симпатий к России становились все реже.

Бывало еще до 1908 года, что сменившийся у Бранденбургских ворот караул, проходя перед нашим посольством, играл наш гимн. Остен-Сакен показывался тогда на балконе или в окне и стоял, пока не прекращались звуки гимна. Обычай этот вывелся как-то сам собой, как вывелось и многое другое, что должно было бы открыть глаза на создающиеся новые отношения немцев к нам.

В середине июня ежегодно происходили в Киле парусные гонки. Император, Вильгельм, особенно любивший море и гордившийся своим, ставшим к тому времени уже весьма внушительным флотом, не только лично присутствовал на этих гонках, но сам принимал в них участие.

Съезжался на это время в Киль двор, и собирался там весь германский флот. Гонки сменялись придворными торжествами, город наполнялся массою приезжих, а в лучшей гостинице, выстроенной для этих торжеств по желанию императора Круппом, жизнь била ключом.

Продолжалась так называемая «Kieler Woche» две недели.

Морские агенты всех держав тоже приезжали в Киль на это время. Их сопровождали жены, и я заранее радовалась этому путешествию, сулящему мне много новых впечатлений.

Эти две недели оказались, действительно, на редкость интересными. Самой красивой была гонка яхт первого класса. Было их всего три: личная яхта императора Вильгельма, «Метеор», крупповская – «Германия» и принадлежащая городу Гамбургу «Гамбург». Мой муж был приглашен Круппом фон Болен унд Гальбах участвовать в гонке на его яхте, и я уже горевала, что

придется одной остаться в гостинице, как получила приглашение от принцессы Ирины, супруги принца Генриха Прусского и сестры императрицы Александры Федоровны на ее яхту «Кармен». «Кармен» должна была выйти в море с раннего утра и следить весь день за гонками, которые начинались в шесть часов утра и продолжались до вечера.

Принц Генрих, брат императора Вильгельма, командовал германским флотом, и мы уже в первые дни «Kieler Woche» были приглашены на большой прием в его дворец. Принцесса Ирина, его супруга, совсем очаровала меня своей приветливостью и добротой. Увидя на моем плече шифр своей сестры, она подошла ко мне со словами:

– Давно ли вы видели императрицу?

И потом долго меня не отпускала, все расспрашивая об императрице Александре Федоровне, государе и их детях.

Ни фигурой, ни манерами, ни лицом она не походила на свою сестру, держалась очень просто и подкупала своей доброй улыбкой и приветливостью в обращении. Я очень обрадовалась ее приглашению, и гонки произвели на меня неизгладимое впечатление.

Яхты, принимавшие участие в гонках первого класса, поражали своей величавой красотой. Ведь это были настоящие большие двухмачтовые корабли – в 350 тонн водоизмещения, с командой в семьдесят человек, колоссальной площадью парусности и очень просторными, из-за отсутствия машин, помещениями. Что может быть красивее, чем эти три огромные белые птицы, несущиеся по голубой глади моря?

Прошли эти яхты очень большое расстояние, и в последнюю минуту пришла первой, конечно, яхта, управляемая императором.

Привыкнув с юности интересоваться всеми служебными делами моего отца, я теперь горячо разделяла интересы моего мужа. Это было начало его политическо-морской карьеры, и, конечно, он с большим рвением старался работать на новом поприще. А тут в первую же неделю произошел случай, причинивший ему много волнений.

На второй день «Kieler Woche» мой муж получил телеграмму от нашего посла о том, что на следующий день приходят в Киль два наших крейсера: «Диана» и «Аврора». Надо сказать, что в те времена военные корабли извещали о своем приходе заблаговременно лишь в официальных случаях, в обычном же плавании корабль заходил, куда заблагорассудится командиру или адмиралу, о чем уведомлялось в последний день посольство или миссия соответствующей державы, которая и сообщала о времени прихода местному правительству.

Получив телеграмму, мой муж немедленно передал ее содержание командиру порта. Вечером обедал он у императора Вильгельма на яхте «Гогенцоллерн», и император, знавший уже о приходе наших крейсеров и, по-видимому, этим очень довольный, был с моим мужем особенно ласков и любезен. Видно было, какое значение он придавал тому, что русские военные суда приходят в Киль во время придворных торжеств, оказывая этим Германии особый акт вежливости.

Император Вильгельм, очень дороживший дружбой с Россией, особенно теперь, когда отношения между обеими империями казались иногда натянутыми, подчеркнуто любезно приветствовал всякий шаг к их сближению.

К нашему удивлению, в назначенный день крейсера не пришли, и на телеграмму моего мужа в морской Генеральный штаб о причине задержки он получил ответ от командира «Дианы» из Либавы, в котором тот сообщал, что корабли придут, когда окончат погрузку угля.

Вечером на обеде в яхт-клубе император Вильгельм высказал моему мужу нетерпение по поводу того, что обещанный приход судов так задерживается.

Придя домой, мой муж сейчас же уведомил телеграммой морской Генеральный штаб, какое значение придает император германский визиту наших судов именно во время «Kieler Woche», но и на следующий день ни «Диана», ни «Аврора» не пришли.

Завтракали мы в этот день у принца Генриха. Когда встали из-за стола, принц, подойдя к моему мужу, в очень несдержанной форме высказал ему свое недовольство неаккуратностью русских моряков, говоря, что из-за предполагаемого прихода наших крейсеров пришлось переставить весь германский флот. Он прибавил, что если наши суда не придут и завтра, то места эти снова будут заняты, и тогда пусть «Диана» и «Аврора» становятся хоть в открытое море. Муж мой на это ответил принцу, что раз приход наших крейсеров является уже нежелательным, он даст немедленно об этом знать – еще не поздно это сделать.

Тут принц мгновенно переменил гнев на милость, сказав, что его слова неправильно поняты, что император, наоборот, весьма доволен приходом наших судов, видя в этом желание со стороны России оказать Германии внимание.

Наконец, к всеобщему облегчению, суда наши на следующий день пришли.

Видно, действительно император придавал исключительное значение приходу русских крейсеров. Как только командиры, бросив якорь, отправились с официальными визитами, император уже был на «Диане», с которой перешел на «Аврору» – посетив,

таким образом, оба корабля в отсутствие командиров. Он сидел в кают-компаниях, шутил с офицерами, которых щедро наградил, был весел и доволен и даже подарил кают-компаниям свои портреты.

Вспоминая эту и последующие наши частые поездки в Киль, не могу не упомянуть о гостеприимном и радушном нашем консуле. В Киле, как в военном порту, штатного консула не полагалось, и эти обязанности исполнял крупный пароходовладелец Дидерихсен.

Много приятных часов провели мы в его вилле «Форстек», под Килем. Вилла эта огромной красивой террасой выходила на море, а с остальных трех сторон была окружена большим садом. С террасы и из окон двухэтажной виллы видна была яхта Дидерихсена, тоже «Форстек», с дымящейся трубой, всегда готовая к отплытию.

Во время наших приездов в Киль Дидерихсен и его жена давали ежедневно обеды. Никто так не умеет веселиться, как моряки, а тут их бывало всегда очень много: и старые почтенные адмиралы, и элегантные морские офицеры, и их жены. Все мы весело проводили вечера в гостиных дидерихсеновского дома. Самым красивым помещением виллы был зимний сад, где мы пили послеобеденный кофе, забывая, когда дело было зимой, о стуже на дворе.

Как-то я спросила Дидерихсена, почему он в помощь своей прислуге нанимает во время больших обедов лакеев со стороны, когда на его яхте, тут же рядом, лакеи бездействуют. На это Дидерихсен мне ответил, что яхта у него на то и существует, чтобы быть всегда готовой к походу:

– У меня не только люди всегда наготове, но и запас провизии на яхте должен всегда быть на несколько дней плавания. Ведь если кто-нибудь из моих гостей вдруг захочет сейчас совершить морскую прогулку, мы через десять минут будем уже на яхте с поднятым якорем и будем весело плыть по волнам.

И действительно, гостеприимство Дидерихсены оказывали такое же широкое на своей яхте, как и на своей вилле.

За время нашей жизни в Германии мы неоднократно совершали прогулки на этой яхте, и даже иногда без хозяев, так как любезность нашего консула доходила до того, что он предоставлял яхту в наше распоряжение, когда приезжал к нам кто-нибудь из наших родных и друзей.

Глава XXX

В один из ближайших после нашего возвращения с «Kieler Woche» в Берлин дней нас ожидала большая радость. Вдруг, совершенно неожиданно, открывается дверь в кабинет, где мы оба сидели, и входит папа. Мы сразу ничего понять не могли и, даже не здороваясь, смотрели растерянно на него. Когда прошло первое удивление, папа рассказал, что приехал из Штеттина, куда прибыл с детьми на яхте «Алмаз». Государь на это лето, оказывается, предложил папа, в виде отдыха, совершить более длительное путешествие на большой яхте «Алмаз». Мы слышали неопределенно об этом плане, но точно ничего не знали, так как держалось все в большом секрете, чтобы никто не узнал о присутствии папа на яхте.

Придя в Штеттин, мой отец решил нам сделать сюрприз и неожиданно, как это любил делать его отец, явился к нам.

Мы провели с ним хороший день. Он как ребенок радовался возможности свободно гулять по улицам, заходить даже с нами в кафе; казался молодым – и был таким веселым, каким я давно его не помнила.

Вся остальная семья была уже в Штеттине на яхте, и вечером того же дня мы с папа поехали туда же и пошли с ними из Штеттина в Гамбург, делая большой круг через датский порт Ниборг.

Присутствие папа на яхте было обставлено большой тайной, и несмотря на все старания штеттинских портовых властей узнать имя почетного путешественника, им это не удалось. То же было в Ниборге.

Интересен был путь через Кильский канал. С палубы корабля вдруг, вместо привычного вида моря, разворачиваются перед глазами мирные пейзажи – луга, леса, пасущиеся на пастбищах коровы, и так как канал весьма узок, все это проходит от корабля совсем близко. Поражают мосты, переброшенные через канал. Они так высоки, что корабли проходят под ними со своими мачтами.

Инкогнито, позволявшее папа использовать свой отдых, очень радовало его. В портах он съезжал на берег. В Гамбурге посещал театры, осматривал город, ходил по магазинам и был все время в самом радостном настроении.

Но счастье это оказалось кратковременным. Из Гамбурга мой муж был вызван послом в Берлин, где узнал, что император Вильгельм был кем-то оповещен о присутствии на яхте русского премьера и через нашего посла выразил желание непременно с

ним свидеться. Вернувшись с этим известием в Гамбург, мой муж передал папа о желании германского императора.

Но папа решительно отклонил это предложение, сказав, что он поставил себе за правило не вмешиваться в иностранную политику России, будучи уже занят выше сил внутренним упорядочением страны, столь расшатанной последними тяжелыми годами. И чтобы избежать возобновления подобного предложения, папа в тот же вечер ушел на «Алмазе» в норвежские фиорды.

Мой отец считал, что свидание его с самым предприимчивым монархом Европы, человеком с на редкость живым характером, способным принимать самые неожиданные решения, могло принести больше вреда, чем пользы.

Императору же Вильгельму очень хотелось познакомиться с знаменитым министром, сила воли и умение которого остановили революцию в России и звезда которого сияла ярким блеском на политическом горизонте.

Узнав об отбытии «Алмаза» из германских вод, император дал распоряжение своему флоту найти яхту. Задача эта великолепно поставленным германским флотом была скоро выполнена, и император Вильгельм пустился на своей яхте «Гогенцоллерн» вслед за «Алмазом». Но мой отец от принятого решения не отказался и систематически избегал во время своего плавания встречи с императором.

Пропутешествовал папа на этот раз долго и в августе, отдохнувший и бодрый, вернулся в Штеттин, куда мы снова выехали свидеться с моими. Наташе тоже морской воздух принес пользу – она порозовела и пополнела, но ходить ей было все же очень трудно, и мои родители решили, по совету докторов, отправить ее на зиму в ортопедический институт знаменитого профессора Гессинга, в Геггинген, куда ее и повезла мама. Мы же с папа пошли на «Алмазе» в Либаву.

В Либаве произошел забавный случай. В ожидании съезда папа на берег вся полиция была поставлена на ноги, и тревогам и волнениям полицмейстера, очевидно, не было пределов. Все ждали, что папа поедет в город в автомобиле или коляске командира порта. Вместо этого он скромно поехал с нами из порта императора Александра III, где стоял «Алмаз», на трамвае. Мы много гуляли по городу, заходили в магазины, пили чай в кургаузе и уже с темнотой возвращались в трамвае же в порт, где по дороге услышали следующий разговор двух против нас сидящих полицейских:

– Ну, слава богу, миновал день благополучно. Столыпин на берег так-таки и не съехал – теперь и отдохнуть можно.

Папа, смеясь глазами, сделал нам знак молчать, а по приезде на яхту отдал приказ с благодарностью полицейместеру за образцовый порядок в городе, который он подробно осмотрел.

Глава XXXI

Вернувшись из этой поездки в Берлин, мы уже на всю зиму засели дома, как вдруг непредвиденные события неожиданно вырвали нас на несколько дней из начинавшей налаживаться нашей жизни.

В ноябре мой муж получил телеграмму о кончине в Париже великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала Русского флота. Тело его перевозилось в экстренном поезде в Петербург. Моему мужу было приказано сопровождать его по Германии, от границы Франции до России. Ехал в том же поезде великий князь Павел Александрович с супругою своей, княгиней Палей, тогда еще графиней Гогенфельзен.

Во время короткой остановки в Берлине на вокзале Фридрихштрассе наш посольский священник отец Мальцев служил панихиду в присутствии членов посольства, и траурный поезд двинулся дальше. На вокзале я узнала, что муж мой получил распоряжение сопровождать тело до Петербурга, и он попросил меня выехать туда же в тот же вечер.

Узнав, что я, выехав вечером, еще до похорон буду в Петербурге, один из германских принцев просил меня отвезти венок на гроб великого князя, который по какой-то причине, не успел быть возложен в Берлине. Венок должен был быть мне доставлен прямо на поезд.

Я страшно радовалась в первый раз после замужества возможности ехать в Петербург. Суетилась, покупала и укладывала сестрам подарки… и в результате опоздала на поезд, который плавно прошел прямо перед моими глазами, когда я, запыхавшись, бежала по высокой лестнице Фридрихштрассебангоф, сопровождаемая не менее запыхавшимся нашим выездным лакеем Карлом с чемоданами. Я на минуту опешила, но не успела опомниться, как какой-то расторопный толстый носильщик, сразу оценив положение, за плечи толкнув меня к выходу, крикнув в ухо:

«Schnell, ein Auto und zum Schlesieschen Bahnhof!»

Не прошло и минуты, как я, чемоданы и Карл, рядом с шофером, мчались с недозволенной полицией скоростью через весь Берлин. По дороге я вдруг вспомнила: «А венок принца? Боже мой!»

Schlesiescher Bahn, бешеный бег через вокзал, и я в вагоне в тот самый момент, когда поезд двигается. В коридоре ко мне подходит проводник со словами:

– Вы, наверное, та самая дама, для которой оставлено

спальное отделение, там вам положен большой пакет.

Вхожу и нахожу венок, участь которого меня так волновала. Таким образом я, благодаря находчивости берлинского носильщика, с честью исполнила возложенное на меня поручение германского принца и еще раз оценила немецкую сообразительность и порядок.

Мои еще жили в Зимнем дворце, где нам было отведено очень уютное помещение из трех комнат с ванной в нижнем этаже дворца. Мои родители с любовью устроили его нам, удобно и уютно, и все время нашего пребывания баловали нас, как только могли.

Папа нашли мы в бодром, веселом настроении: работа с новой Государственной думой ладилась, не в пример прошлым годам, и с надеждой, вкладывая в работу всю душу свою, смотрел он на будущее.

Как раз в одну из ближайших недель была им произнесена в Думе речь по поводу земельного законопроекта, об устройстве крестьян, дословный текст которой приводится ниже. Речь эта выражает полно и всесторонне подробно взгляд моего отца на самое дорогое сердцу его дело – дело об устройстве жизни самого многочисленного класса населения России – русского крестьянства.

В заседании Государственной думы 5 декабря 1908 года, при обсуждении земельного законопроекта об устройстве крестьян, мой отец произнес следующую речь:

«Господа члены Государственной думы! Если я считаю необходимым дать вам объяснение по отдельной статье, по частному вопросу – после того, как громадное большинство Государственной думы высказалось за проект в его целом, то делаю я это потому, что придаю этому вопросу коренное значение. В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип. Мысль эта, очевидно, должна быть проведена по всем статьям законопроекта; выдернуть ее из отдельной статьи, а тем более заменить ее другой мыслью – значит исказить закон, значит лишить его руководящей идеи. А смысл закона, идея его для всех ясна. В тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное развитие, где община, как принудительный союз, ставит преграду для его самодеятельности, там необходимо дать крестьянину свободу приложения своего труда к земле, там необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью: надо дать ему власть над землей, надо избавить его от кабалы отживающего общинного строя (возгласы «браво!» справа и в центре). Закон, вместе с тем, не ломает общины в тех

местах, где хлебопашество имеет второстепенное значение, где существуют другие условия, которые делают общину лучшим способом использования земли.

Если, господа, мысль эта понятна, если она верна, то нельзя вводить в закон другое понятие, ей противоположное; нельзя, с одной стороны, исповедывать, что люди созрели для того, чтобы свободно, без опеки, располагать своими духовными силами, чтобы прилагать свободно свой труд к земле так, как они считают это лучшим, а с другой стороны – признавать, что эти самые люди недостаточно надежны для того, чтобы без гнета сочленов своей семьи распоряжаться своим имуществом.

Господа! Противоречие это станет еще более ясным, если мы дадим себе отчет в том, как понимает правительство термин «личная собственность» и что понимают противники законопроекта под понятием собственности семейной. Личный собственник, по смыслу закона, властен распоряжаться своей землей, властен закрепить за собой свою землю, властен требовать отвода отдельных участков ее к одному месту; он может прикупить себе земли, может заложить ее в Крестьянском банке, может, наконец, продать ее. Весь запас его разума, его воли находятся в полном его распоряжении; он в полном смысле слова кузнец своего счастья. Но вместе с тем ни закон, ни государство не могут гарантировать его от известного риска, не могут обеспечить его от возможности утраты собственности, – и ни одно государство не может обещать обывателю такого рода страховку, погашающую его самодеятельность.

Государство может, оно должно делать другое: не тому или иному лицу оно должно обеспечить определенное владение, а за известной группой лиц, за теми лицами, которые прилагают свой труд к земле, за ними оно должно сохранить известную площадь земли, а в России – это площадь земли надельной. Известные ограничения, известные стеснения закон должен налагать на землю, а не на ее владельца. Закон наш знает такие стеснения и ограничения, и мы, господа, в своем законопроекте ограничения эти сохраняем: надельная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия; надельная земля не может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк; она не может быть продана за личные долги; она не может быть завещана иначе, как по обычаю.

Но, господа, что такое семейная собственность? Что такое она в понятиях тех лиц, которые ее защищают, и для чего она необходима? Ею, во-первых, создаются известные ограничения, и ограничения эти относятся не к земле, а к ее собственнику. Ограничения эти весьма серьезны: владелец земли, по предложению сторонников семейной собственности, не может,

без согласия членов семьи, без согласия детей домохозяина, ни продать своего участка, ни заложить его, ни даже, кажется, закрепить его за собою, ни отвести надел к одному месту; он стеснен во всех своих действиях. Что же, господа, из этого может выйти? Возьмем домохозяина, который хочет прикупить к своему участку некоторое количество земли; для того, чтобы заплатить верхи, он должен или продать часть своего надела, или продать весь надел, или заложить свою землю, или, наконец, занять деньги в частных руках. И вот дело, для осуществления которого нужна единая воля, единое соображение, идет на суд семьи, и дети, его дети, могут разрушить зрелое, обдуманное и, может быть, долголетнее решение своего отца. И все это для того, чтобы создать какую-то коллективную волю! Как бы, господа, этим не наплодить не одну семейную драму. Мелкая семейная община грозит в будущем и мелкой чересполосицей, а в настоящую минуту она, несомненно, будет парализовать и личную волю, и личную инициативу поселянина.

Во имя чего все это делается? Думаете ли вы этим оградить имущество детей отцов пьяных, расточительных или женившихся на вторых женах? Ведь в настоящее время община не обеспечивает их от разорения; и в настоящее время, к несчастью, и при общине народился сельский пролетариат; и в настоящее время собственник надельного участка может отказаться от него и за себя, и за своих совершеннолетних сыновей. Нельзя создавать общий закон ради исключительного уродливого явления, нельзя убивать этим кредитоспособность крестьянина, нельзя лишать его веры в свои силы, надежд на лучшее будущее, нельзя ставить преграды обогащению сильного – для того, чтобы слабые разделили с ним его нищету.

Не разумнее ли идти по другому пути, который широко перед вами развил предыдущий оратор граф Бобринский? Для уродливых, исключительных явлений надо создавать исключительные законы; надо развивать институт опеки за расточительность, который в настоящее время наш Сенат признает применимым и к лицам сельского состояния. Надо продумать и выработать закон о недробимости участков. Но главное, что необходимо, это – когда мы пишем закон для всей страны – иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. (Рукоплескания центра и правых.)

Господа, нужна вера. Была минута, и минута эта не далека, когда вера в будущее России была поколеблена, когда нарушены были многие понятия; не нарушена была в эту минуту лишь вера царя в силу русского пахаря и русского крестьянина! (Рукоплескания центра и правых.) Это было время не для

колебаний, а для решений.

И вот в эту тяжелую минуту правительство приняло на себя большую ответственность, проведя в порядке ст. 87 закон 9 ноября 1906 года: оно ставило ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных. Таковых в короткое время оказалось около полумиллиона домохозяев, закрепивших за собой более 3.200.000 десятин земли. Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и помните, законодательствуя, что таких людей, таких сильных людей в России большинство. (Рукоплескания центра и правых.)

Многих смущает, господа, что против принципа личной собственности раздаются нападки и слева и справа. Но левые в данном случае идут против принципов разумной и настоящей свободы. Неужели не ясно, что кабала общины и гнет семейной собственности являются для 90 миллионов населения горькой неволей? Неужели забыто, что этот путь уже испробован, что колоссальный опыт опеки над громадной частью нашего населения потерпел уже громадную неудачу. (Возгласы справа и из центра: «браво!») Нельзя господа, возвращаться на этот путь, нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы. (Возгласы «браво!») Необходимо думать и о низах, нельзя уходить от черной работы, нельзя забывать, что мы призваны освободить народ от нищенства, от невежества, от бесправия. (Возгласы «браво!» Рукоплескания справа и из центра.)

И насколько, господа, нужен для переустройства нашего Царства, переустройства его на крепких монархических устоев – крепкий личный собственник, насколько он является преградой для развития революционного движения, – видно из трудов последнего съезда социалистов-революционеров, бывшего в Лондоне в сентябре настоящего года.

Я позволю привести вам некоторые положения этого съезда. Вот то, между прочим, что он постановил: «Правительство, подавив попытку открытого восстания и захвата земель в деревне, поставило себе целью распылить крестьянство усиленным насаждением личной частной собственности или хуторским хозяйством. Всякий успех правительства в этом направлении наносит серьезный ущерб делу революции». Затем дальше: «С этой точки зрения современное положение деревни прежде всего требует со стороны партии неуклонной критики частной собственности на землю, критики, чуждой компромиссов со всякими индивидуалистическими тяготениями». Поэтому сторонники семейной собственности и справа и слева, по мне, глубоко ошибаются.

Нельзя, господа, идти в бой, надевши на всех воинов броню

или заговорив всех их от поранений. Нельзя, господа, составлять закон, исключительно имея в виду слабых и немощных. Нет, в мировой борьбе, в соревновании народов почетное место могут занять только те из них, которые достигнут полного напряжения своей материальной и нравственной мощи. Поэтому все силы и законодателя, и правительства должны быть обращены к тому, чтобы поднять производительные силы источника нашего благосостояния – земли. Применением к ней личного труда, личной собственности, приложением к ней всех, всех решительно народных сил, необходимо поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю, так как земля – это залог нашей силы в будущем, земля – это Россия». (Продолжительные рукоплескания справа и центра.)

Глава XXXII

В Берлине я с головой окунулась в светскую жизнь, которая теперь мне почему-то понравилась гораздо больше, чем в девичьи годы.

При германском дворе сезон начинался в январе с так называемого «Schleppenkur». Для этого торжества требовался придворный шлейф всем представляющимся дамам, и мама мне таковой к этому времени заказала. Но этой зимой мне пришлось присутствовать уже до «Schleppenkur» на большом придворном празднестве, а именно на венчании принца Августа-Вильгельма, сына императора Вильгельма.

На всех торжествах при иностранных дворах, где требуется придворное платье, особенно эффектно всегда выделялись русские дамы. У всех остальных придворных костюм состоит из шлейфа, прикрепляющегося к плечам при обыкновенном бальном платье. Традиционный обычай требует лишь от англичанок особого головного убора, состоящего из трех страусовых перьев. Русские же дамы неизменно привлекали всеобщее внимание красотой и богатством наших национальных платьев. Кокошник, фата, богато вышитое исторического покроя русское платье с шлейфом и большое количество драгоценных камней не могли не производить впечатления.

Обряд бракосочетания происходил в небольшой дворцовой церкви, и во время церемонии играл, вместо органа, любимый императором хор трубачей. Вечером мы любовались на очень красивое зрелище «Fackelzug».

Молодые стояли на возвышении, окруженные членами императорской фамилии, и мимо них дефилировали пажи, в красивых исторических костюмах, с зажженными факелами.

Так как церковь по своим размерам не вмещала большого числа приглашенных, то на свадьбе присутствовали не все члены дипломатического корпуса, как это было во время «Schleppenkur», где нас одних русских дам было шесть человек.

Это торжество происходило по раз навсегда установленному, строго выработанному этикету.

При приезде во дворец отдельно собирались все немецкие дамы и отдельно дамы-иностранки. Сначала представлялись иностранцы, потом немцы. Император и императрица стояли рядом друг с другом у подножия трона в большом тронном зале, а рядом, на возвышении, находилась вся императорская фамилия. Открывались двери, и при звуках оркестра все представляющиеся дефилировали один за другим перед императорской четой.

Сначала проходили мужчины, делавшие глубокий поклон, затем, одна за другой, проходили дамы, делали придворный реверанс и выходили в дверь, противоположную той, в которую вошли.

До входа в тронный зал, когда мы проходили по соседним залам, каждая дама держала в руках шлейф предшествующей и лишь перед входом выпускала его из рук, и стоявшие церемониймейстеры своими палочками подправляли уже на полу лежащий трэн, потом проходили мы мимо шеренги пажей в красных костюмах с белыми жабо, и эти мальчики нарочно говорили всякие глупости, чтобы смутить дам.

За этим следовал сезон балов. Сезон очень короткий, продолжавшийся лишь пять, шесть недель. На это время все особняки носителей громких фамилий оживали. Все остальное время года они проводили у себя в замках, в своих имениях.

За эти недели берлинское общество не знало отдыха: сплошные обеды, завтраки, балы. Но для нас, молодых дам, была очень обидной тогдашняя берлинская мода, позволявшая на балах танцевать лишь девицам. Дама же, будь ей двадцать лет, должна была чинно сидеть и разговаривать, не отбивая кавалеров у девиц.

И на придворных балах начало было для нас очень скучно. Император и императрица не садились, и мы не смели сесть, а должны были смотреть на разные старинные танцы, вроде менуэта и гавота, исполняемые заранее выучившими их девицами и офицерами.

После этого император своим бодрым, энергичным шагом обходил приглашенных, и его громкий голос был слышен издали. За ним следовал камер-лакей, несший на подносе стакан воды, на случай, если императору захочется пить. И всегда вблизи него, как бы притянутый к императору магнитом, находился турецкий военный агент Энвер-Бей, ставший впоследствии знаменитым турецким вождем.

Император каждый раз очень любезно беседовал со мной, неизменно начиная разговор фразой:

– Nun, wie geht's dem Papa?

Я, помня правила, выученные мною у нашего посла, старалась моими ответами оживлять разговор. Император знал, что Наташа лечится у Гессинга в Геггингене (Goggingen bei Augsburg), и очень интересовался, насколько профессор мог помочь ее больным ногам. Он подробно расспрашивал меня о моем отце, о том, живет ли он все еще в Зимнем дворце. О его работе, о его здоровье. Он поражал своей осведомленностью обо всем, и ни с кем из высочайших мне не бывало так легко говорить, как с ним.

После «Cercle» происходили общие танцы. Потом сервировался общий ужин, на котором император и императрица не присутствовали, и к двенадцати часам все разъезжались. Знаком к разъезду служил разносившийся лакеями пунш.

Частные балы затягивались дольше: часов до двух-трех.

Самые, пожалуй, красивые из них давала княгиня Доннерсмарк, по рождению русская, в своем особняке на Parieser Platz. Некоторые из послов устраивали приемы в больших гостиницах, что было, конечно, гораздо менее элегантно, чем приемы в частных домах.

Одним из самых оживленных мест, где собиралось все общество, был каток в Eispalast. Катание на коньках по искусственному льду было новинкой и привлекало много народу. Был у нас свой день, когда в известные часы пускалась на каток публика только по именным карточкам. Эти веселые катания по понедельникам всегда посещал кронпринц, высокая худощавая фигура которого виднелась то быстро скользящей по гладкому льду, то в оживленной беседе с кем-нибудь из спортсменов или дам, то за коктейлем между двумя турами.

За эту зиму мы несколько раз навещали Наташу в Геггингене. Находили мы ее каждый раз все более окрепшей и веселой и сами за один два дня в этом дивном горном воздухе набирались сил и энергии. Санатория лежит довольно высоко в горах, и ни с чем не сравнимое удовольствие прогулки или игры в снежки, в покрытом ослепительно-белым снегом саду, на ярком солнце в одних платьях.

Профессор Гессинг велел Наташе носить специальную ортопедическую обувь, но она с ней как-то не сумела справиться – слишком она ей была тяжела, и тогда она стала брать ежедневно у профессора уроки ходьбы, в результате чего она выучилась передвигаться без палки и костылей, хоть и не так, как все, но довольно легко.

Глава XXXIII

Весной этого 1909 года весь политический мир был сильно взволнован событиями, явившимися результатом аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией, объявленной 7 октября 1908 года.

Предшествовавшие этому событию в начале сентября частные переговоры между нашим министром иностранных дел Извольским и австро-венгерским министром графом Эренталем, в Бухлау, резко ухудшили отношения между обеими монархиями. Россия отказывалась признать эту аннексию и требовала созыва международной конференции. Германия всецело поддерживала своего союзника – Австрию, настаивая на безусловном признании аннексии без конференции. Отношения становились крайне натянутыми. В нашем посольстве, как и во всех дипломатических кругах, только и было разговору об этом кризисе: все отдавали себе отчет, до чего серьезен он при существовании австро-германского союза и какие последствия он может повлечь за собой. Все считали Европу накануне войны.

В эти же дни мой муж получил телеграмму о приходе нашего гардемаринского отряда, возвращавшегося из Средиземного моря в Киль. В обязанности моего мужа входило встречать все русские суда, прибывающие в германские порты. При создавшемся положении визит наших судов был совершенно непонятен.

Приехав накануне их прихода в Киль, мой муж встретил у германских начальствующих лиц, которым он сделал визит, отношение холодное и крайне недоуменное. Ясно было, что как и для него, так и для них появление русских кораблей теперь в Германии было необъяснимо: ведь положение было настолько серьезно, что в Германии уже рассылались карточки с предупреждением о возможной мобилизации. Объяснением этого непонятного прихода нашего отряда могло служить то, что, быть может, декларация была обнародована уже после выхода кораблей в море из последнего порта. Но, с другой стороны, радиотелеграф в то время был уже достаточно развит, чтобы суда могли быть предупреждены вовремя.

Как выяснилось на следующий день, когда корабли пришли, то же чувство недоумения испытывал и командующий отрядом адмирал Литвинов, державший курс на Киль, по распоряжению из Петербурга, но по своей инициативе зарядивший пушки.

При входе в порт каждое из наших судов было поставлено, по указанию встретившего их германского морского офицера, между двумя сильнейшими немецкими броненосцами.

Ко всеобщему облегчению, часа через два после прихода нашего отряда опасность войны миновала. Она была предотвращена благодаря моему отцу, считавшему безумием для не успевшей еще окрепнуть России вести какую бы то ни было войну.

Через некоторое время после этих тревожных кильских дней мы были в Петербурге, и мой муж рассказывал о пережитых волнениях папа, который на это твердо ответил: «Пока я у власти, я сделаю все, что в силах человеческих, чтобы не допустить Россию до войны, пока не осуществлена целиком программа, дающая ей внутреннее оздоровление.

Не можем мы меряться с внешним врагом, пока не уничтожены злейшие внутренние враги величия России эсэры. Пока же не будет полностью проведена аграрная реформа, они будут иметь силу, пока же они существуют, они никогда не упустят ни одного удобного случая для уничтожения могущества нашей Родины, а чем же могут быть созданы более благоприятные условия для смуты, чем войной?»

Итак, после прихода наших кораблей атмосфера сразу разрядилась, и на следующий же день натянутые отношения заменились самыми теплыми и дружественными. Наступили оживленные, веселые дни, заполненные приглашениями и приемами и у принца Генриха, и на «Славе», и на «Цесаревиче», и на «Богатыре».

На военном корабле каждое торжество носит совсем особенный отпечаток: подвозящие вас к кораблю катера с молодцеватыми матросами, нарядные, веселые офицеры, помещения, так мало похожие на то, к чему мы привыкли на суше, подтянутость, блестящая чистота и элегантность всего окружающего – все это, вместе взятое, создает приподнятое настроение, при котором люди быстро знакомятся и как-то искреннее относятся друг к другу.

Помню, как во время посещения принцем Генрихом и принцессой нашего броненосца «Цесаревич», принц долго и оживленно за бокалом шампанского в адмиральском помещении говорил с адмиралом Литвиновым, который слушал его с очень довольным выражением, и до нас донеслись слова:

– Каковы бы ни были отношения между Россией и Германией, я всегда останусь верным другом вашего царя, и он всегда найдет во мне поддержку. Я вас прошу по приходе в Россию доложить эти мои слова государю императору.

Через дня два после нашего возвращения в Берлин из нашего консульства поступило ко мне сообщение о неблагонадежности генерала Курлова по отношению к моему отцу. Сообщение было

настолько серьезно, что мы решили выехать в тот же день в Петербург, чтобы сообщить об этом моему отцу и предупредить его.

Приехав в Петербург утром, я просила папа за завтраком уделить нам время для важного разговора с ним. Мой отец назначил в пять часов в саду Зимнего дворца, где он совершал в это время прогулку. Когда мой муж передал все полученные нами сведения, папа, нахмурившись, сказал:

– Да, Курлов единственный из товарищей министров, назначенный ко мне не по моему выбору; у меня к нему сердце не лежит, и я отлично знаю о его поведении, но мне кажется, что за последнее время он, узнав меня, становится мне более предан.

Глава XXXIV

Мой отец в этот наш приезд в Петербург был сильно озабочен делом, причинившим ему много неприятностей. Началось оно с такого, в сущности, пустого вопроса, что никак нельзя было сначала предполагать, во что оно выльется. Виной всему этому делу явилось морское ведомство со своим министром, генерал-адъютантом Диковым во главе. Диков был милый старик, настоящий «морской волк», но человек абсолютно незнакомый со столь важными при внесении законопроектов в Государственную думу юридическими тонкостями, к тому же это был, вероятно, первый проводимый морским ведомством законопроект.

После разгрома нашего флота при Цусиме образовался в Петербурге кружок морских офицеров с лейтенантом Колчаком, впоследствии, во время Гражданской войны, верховным правителем России, во главе. Этот кружок задался целью разобраться в недостатках и недочетах, приведших наш флот к гибели, а, сделав это, разработать проект Морского Генерального Штаба. Такие штабы существовали уже в Японии и Германии и являлись совершенно необходимыми при переходе флота с парусов на пар. Представленный кружком проект, весьма тщательно им обработанный, был одобрен морским министром. Составленные для его существования штаты, вызывавшие расход менее ста тысяч рублей в год, были, вместе с законопроектом об утверждении самого Морского Генерального Штаба, внесены в Государственную думу. Штаты прошли гладко, и Дума утвердила их, как и само учреждение Штаба, после чего дело автоматически пошло в Государственный совет.

Дело это было столь незначительно, что им никто не интересовался. Но на первом же заседании финансовой комиссии Государственного Совета вопрос этот принял совершенно неожиданный оборот.

Член Государственного совета Дурново поднял вопрос о том, что Государственная дума незаконно утвердила законопроект, так как, согласно ст. 96, организационные мероприятия по управлению флотом принадлежат верховной власти и, таким образом, в данном случае нарушены прерогативы государя императора.

Допущенная ошибка повлекла за собой отставку морского министра. Моему отцу же предстояло решить нелегкую и крайне неприятную задачу: как выйти из этого положения? Дать Государственной думе возможность вмешиваться в дела, компетентные лишь верховной власти, – значит создавать

прецедент к отнятию этих прерогатив у государя императора, т. е. допустить то, к чему так стремились первые две Думы. Возвратить же законопроект в Думу – значило, во-первых, вызвать с ней конфликт, а во-вторых, отсрочить проведение штатов.

Моего отца все это очень беспокоило – не хотелось ему портить столь хорошо наладившихся отношений с Государственной думой и было недопустимо отсрочивать учреждение столь необходимого Морского Генерального Штаба. Еще менее возможно было допустить вмешательство в прерогативы государя, оберегаемые моим отцом всегда с такой любовью и преданностью. Таким образом, благодаря П. Н. Дурново, этот вопрос из ничтожного и прошедшего бы незамеченным в Государственном совете, обратился теперь в громкое дело и затянулся до ранней весны, когда попал наконец на рассмотрение общего собрания Государственного совета.

В это время я уже была в Берлине и с интересом ждала известий о заседании, на котором папа намеревался выступить с речью. Но как раз в это время мы получили грустное известие о том, что мой отец заболел воспалением легких.

Эта тяжелая болезнь, переносимая теперь папа во в второй раз, была очень опасна, и мы все пережили тревожные дни пока наконец, не получили извещения о том, что опасность миновала, силы возвращаются и что государь предложил папа отдохнуть несколько недель в Крыму, в Ливадии. Таким образом, по вопросу о штатах папа выступить не пришлось и выступал по нему в Государственном совете министр финансов В. Н. Коковцов. Папа же с семьей уехал в Ливадию, куда выехала из Геггингена Наташа.

Вернувшись в Петербург, папа чуть ли не в первый день получил от государя письмо с неутвержденными государем штатами Морского Генерального Штаба и приказом отнести содержание Штаба за счет десятимиллионного кредита. Этим государь показал, что он не допускает вмешательства в его прерогативы, несмотря даже на то, что ошибка морского ведомства была утверждена Государственным советом.

Глава XXXV

Этой весной 1909 г. мы совершили очень интересную поездку в Гаагу. Мой муж был аккредитован морским агентом, кроме Германии, и в Голландии. Это заставляло его по несколько раз в год наезжать в Гаагу. В этот раз поездка его совпала с торжеством крестин дочери королевы Вильгельмины, принцессы Юлианы.

Прелестная, спокойная, как деревня, в обычное время, сейчас Гаага была неузнаваема. Повсюду флаги, гирлянды и везде украшения оранжевого цвета, цвета Оранской королевской династии.

Ликование народа, очень преданного своей королеве, выражалось часто в трогательно-патриархальных формах. Так, поблизости «Hotel des Indes», где мы жили, перед дворцом особенно любимой народом королевы-матери по вечерам девушки и парни в национальных костюмах водили хороводы и пели народные песни прямо на площади. Народные голландские костюмы встречались вообще очень часто, и весь город дышал Средневековьем со своими старинными постройками и маленькими лавчонками, где хозяин, он же и продавец, он же и мастер, виднелся через открытую дверь сидящим часов до одиннадцати вечера за своей работой…

В один из ближайших после приезда нашего дней мы представлялись королеве Вильгельмине и принцу-супругу во дворце, а несколько дней спустя присутствовали в церкви на крестинах новорожденной наследной принцессы.

Представление происходило очень торжественно, гораздо торжественнее, чем у наших императриц. Королева сидела в большом зале на кресле, а принц стоял поблизости. Когда подошла моя очередь, я сделала полагающийся реверанс, и весь разговор так и стояла в почтительном отдалении от сидящей королевы. Руки она не подавала.

Принц оказался очень разговорчивым и был так счастлив рождением дочери, что только о ней и говорил. Помню его опоясанным оранжевым шарфом, говорящим моему мужу:

«Vous direz a votre Empereur comme ma fille est charmante, n’est ce pas? Vous la verrez au bapteme, elle est deja bien grande!» (Вы расскажете вашему государю, как мила моя дочь? Вы ее увидите на крестинах, она уж совсем большая.)

Крестины происходили в церкви, куда статс-дама внесла на руках пакетик, в котором среди вороха кружев, шелка и батиста было довольно трудно разглядеть крохотное личико наследницы нидерландского престола. Последовали прекрасная музыка

органа и бесконечно длинная проповедь священнослужителя, из которой, конечно, я не поняла ни полслова.

Видно судьбой было предрешено, что мы эту весну проведем в путешествиях. Не пробыли мы в Берлине и десяти дней, как мой муж взял отпуск, и мы поехали в Вену, Париж и Лондон. Последнего города я еще не знала и очень интересовалась им, но любознательности своей не удовлетворила, так как на четвертый день нашего там пребывания мой муж был срочно вызван в Петербург по случаю предстоящего свидания государя императора с императором Вильгельмом.

Мои были все в Елагином дворце, где остановились и мы. Оказалось, что отец мой тоже будет присутствовать на свидании императоров и что состоится оно в Бьерке, куда мой отец и мой муж вместе ушли на императорской яхте «Полярная Звезда».

На следующий день утром состоялось свидание. На первом же завтраке на яхте государя «Штандарт» папа сидел рядом с императором Вильгельмом, который, будто совсем забыв императрицу Александру Федоровну, по правую руку которой он находился, весь завтрак проговорил исключительно с папа. Наконец, исполнилось его желание, и он мог лично обменяться мнениями с государственным деятелем, о котором много слышал. Он так заинтересовался личностью моего отца, что будто боялся потерять минуту времени, которую мог посвятить разговору с ним.

Разочароваться императору Вильгельму, по-видимому, не пришлось, так как мне рассказывал генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, впоследствии убитый вместе с царской семьей, а тогда занимавший пост русского генерал-адъютанта при германском императоре, что Вильгельм II подошел к нему, когда все вышли пить кофе на верхнюю палубу, и сказал:

– Проговорил со Столыпиным весь завтрак. Вот человек! Был бы у меня такой министр, на какую высоту мы бы подняли Германию!

Глава XXXVI

Вернувшись в Берлин, мы снова пробыли всю «Kieler Woche» в Киле, где я с воодушевлением проделала повторение всех прошлогодних увеселений и с радостью встретилась с тамошними нашими друзьями. Опять за нами трогательно ухаживал и старался веселить нас наш милый консул Дидерихсен. Во все свободные от придворных торжеств дни он устраивал очень красивые обеды и прогулки на своей паровой яхте «Forsteck». Его широкий размах и гостеприимство всегда меня поражали, он же сам пылал здоровьем и был всегда в веселом, чудном настроении.

Свой трехнедельный отпуск, прерванный вызовом на бьеркское свидание, мой муж решил докончить в полученном мною к свадьбе от моих родителей имении Пилямонт. Находился Пилямонт в двадцати верстах от Колноберже, и нас особенно соблазняло хотя бы кратковременное пребывание поблизости от моих родителей: папа должен был приехать туда на короткий срок, а мама и дети пробыть там все лето.

Зима 1909–1910 года прошла для меня еще веселее, чем предыдущая. Было много знакомых, много друзей, что делало общество более интересным и все приемы еще привлекательнее.

Новый год мы встретили, не рассказывая об этом графу Остен-Сакену, в ресторане. Известен забавный обычай проведения немцами «Sylvester Nacht». Это была ночь безудержного, буйного веселья, когда молодежь на улицах имела право делать для своего удовольствия, что ей угодно – прямо перед носом полиции, не смеющей, согласно традиции, останавливать веселящихся. Главной целью насмешек служили в то время мужчины, имевшие неосторожность появиться в эту ночь на улице в цилиндре. Цилиндрам была объявлена беспощадная война, и все они сразу продавливались ловким ударом палки, на что их обладатели не имели права даже обижаться. А дамы не имели права обижаться, если их поцелует первый попавшийся незнакомец. Сегодня – «Sylvester Nacht!» Хочешь не принимать участья в берлинских увеселениях, сиди дома!

Конечно, ни одна дама не рискнула бы пойти гулять в этот вечер, но некоторые из наших знакомых и мы решили все-таки посмотреть хоть одним глазком на традиционное немецкое веселье, и мы отправились в «Бристоль», где в компании поужинали, не увидав, увы, ничего особенного, кроме очень оживленных улиц и переполненного крайне элегантной и столь же корректной публикой ресторана.

Этой зимой большой бал во дворце был особенно интересен

тем, что на нем присутствовала английская королевская чета. Эдуард VII с интересом разглядывал публику, оживленно разговаривал и казался очень довольным; королева, сестра императрицы Марии Федоровны, поразила нас всех своим моложавым видом. В начале бала они стояли рядом с Вильгельмом II и императрицей Викторией на возвышении; направо от монархов стояли все принцы и принцессы, а налево мы, дипломаты и их жены. Когда же кончились менуэты и гавоты и перешли в зал, где английский король и королева обходили тоже всех присутствующих, и мы все были им представлены.

На этот раз за императором Вильгельмом не следовал по пятам турецкий военный агент Энвер-бей – он находился в Турции, где принимал участие в перевороте, лишившим престола султана Абдул Гамида. Когда же он вернулся, то был принят императором Вильгельмом чуть ли не в тот же день, что возбудило большие толки. Повод к разговорам и пересудам давала уже тогда большая близость ко двору австрийских посла и военного агента.

Упоминая об австрийском после графе Согени, вспоминаю его жену. Граф Согени был «старшиной» дипломатического корпуса, и поэтому на его жене лежала обязанность представлять жен всех новоприбывших дипломатов во всех домах, где им полагалось официально бывать.

Церемония эта не могла ее утомлять, так как представление заключалось в том, что карточки новой дипломатической дамы рассылались вместе с ее карточкой. Развозили же эти карточки выездной лакей и кучер с пустой каретой! Несмотря на это, графиня всякому и каждому горько жаловалась на то, как ей надоели ее «обязанности».

Графиня Согени была очень туга на ухо, но не любила переспрашивать того, что она не слышит и этим подчеркивать свою глухоту, что давало повод к различным, иногда очень забавным, недоразумениям. Рассказывали про нее следующий анекдот.

Подходит к ней на одном вечере молодой человек и говорит:

– Madame, permettez moi de presenter mon ami a Mlle votre fille (Позвольте мне представить моего друга вашей дочери), – на что глухая старушка отвечает:

– Non, non, non – cela commence toujours bien et cela finit toujours mal (Нет, нет, нет – это всегда хорошо начинается и плохо кончается). – Что она этим хотела сказать и что поняла – так никогда никто и не узнал!

Весной проезжала через Берлин императрица Мария Федоровна, и мы все, члены посольства и их жены,

представлялись ей на вокзале. Лишь я вошла в ее вагон, сразу вспомнила, как я, ребенком, завидовала мама, когда она ездила встречать императрицу с букетом в руках на Ковенский вокзал, и мне стало так весело от мысли, что я сама теперь такая же «взрослая дама», что на вопрос императрицы:

– Vous plaisez-vous a Berlin? (Как вам живется в Берлине?) – ответила: – Enormement, Madame! (Чудно!) – с таким убеждением, что императрица улыбнулась и сказала, что она видит, что я действительно очень счастлива.

Глава XXXVII

В России все, казалось, успокаивалось, жизнь моего отца, по мнению охраны, уже не была все время в такой опасности, и можно было рискнуть ему переселиться из Зимнего дворца на Фонтанку, в дом председателя Совета министров.

Там у них мы и остановились, когда приехали навестить их зимой. И в этом доме папа заботливо приготовил нам маленькое собственное помещение с отдельным входом.

В эту зиму Наташа уже выезжала, и для нее давались балы. На одном из этих балов мы присутствовали, и я с упоением танцевала.

Помню в этот год великолепный бал у графини Шереметьевой. И тут и там, как на всех петербургских балах, поражало количество блестящих военных мундиров, придающих зале на редкость нарядный вид.

Так радостно было видеть Наташу веселящейся и танцующей, хотя, конечно, и не с легкостью, но все же могущей разделять все удовольствия ее сверстниц. Как мало было надежды, что она и ходить-то сможет два года тому назад! А теперь она танцевала и ездила даже верхом.

Этим летом мы провели в Пилямонте шесть недель и много видали папа и в Колноберже и у себя…

В Колноберже была устроена охрана, совсем изменившая внешний, знакомый вид нашего родного гнезда.

Стояли там 180 стражников с двумя офицерами. Во дворе за сараем, где еще так недавно лошади с завязанными глазами вертели молотилку, были разбиты палатки и кипела жизнь. Кителя – белые и хаки, виднелись во всей усадьбе. По вечерам среди палаток слышались солдатские песни и звуки гармонии.

Мама с Наташей и Адей были летом в Киссингене, и папа решил более долгое время провести в Колноберже. Переселились туда же и чередующиеся друг с другом чиновники особых поручений и курьеры. Был установлен телеграф и телефон, и то и дело приезжали для докладов то тот, то другой из товарищей министров и другие высшие чины.

Жизнь била в Колноберже ключом, но жизнь настолько отличная от всего того, к чему я в Колноберже привыкла, что меня это оживление не радовало – перед огромным делом управления Россией отошли на задний план заботы и интересы чисто деревенские. Папа так любил Колноберже, что радовался всякому введенному там новшеству, вроде нового красивого забора вокруг сада, устройству новой молочной или

отремонтированным хозяйственным постройкам, но, конечно, входить во все детали хозяйства он теперь не успевал.

Приезжали старые друзья и чаще всех отец Антоний из Кейдан. Как всегда живой, он с интересом расспрашивал папа о всех политических делах.

Мой муж и я с пылом принялись за хозяйство в Пилямонте, что очень радовало папа. Во время своих частых приездов к нам папа с большим интересом осматривал наше хозяйство и наши новые начинания, входил во все подробности и всегда приезжал к нам «сюрпризом». Папа не подозревал, что минут за десять до его приезда на автомобиле, запыхавшись, приезжали стражники и докладывали нам о выезде моего отца из Колноберже. Мы же, когда мой отец приезжал, делали вид, что ничего не знаем.

Глава XXXVIII

Летом 1910 года государь с императрицей и детьми были на «Штандарте» в Англии. По дороге была трехдневная остановка в Экернфьерде, бухте, расположенной севернее Киля, где находилось имение принца Генриха Прусского.

Наш кильский консул Дидерихсен и на этот раз любезно предоставил нам свою яхту «Форстек», на которой мы накануне прихода «Штандарта» пошли в Экернфьерде.

Дворец в Экернфьерде очень красив и расположен совсем близко от берега моря. Парк выходит на чудный пляж, на котором стоят два домика для раздевания, и тут же, в парке, происходило купанье обитателей замка в море.

После хорошего перехода пришли мы туда вечером и простояли на якоре целый день: сильный туман настолько задержал «Штандарт», что он пришел лишь через день, на рассвете. Еще до подъема флага царская семья съехала на берег.

На обратном пути мой муж должен был встретить «Штандарт» в Бунсбюттеле, что на Эльбе, при входе в Кильский канал. Туда же должен был первоначально прибыть император Вильгельм, но в последнюю минуту, переменив свой план, он решил встретить государя в Киле.

Пройдя Кильский канал, вдоль которого по обеим его сторонам через определенные интервалы стояли войска, яхта «Штандарт» стала на якорь в Кильской бухте и простояла там до утра следующего дня. Император Вильгельм так и не приехал. Насколько я помню, он предполагал показать государю свой флот, что, очевидно, оказалось невозможным вследствие страшного тумана, заволакивавшего всю бухту.

Осенью мы были в Петербурге, и я была счастлива видеть папа в таком хорошем настроении. Он был полон впечатлений и воспоминаний о своей поездке по Сибири, совершенной в сентябре с министром земледелия Кривошеиным. Много рассказывал он о богатстве края, его блестящей будущности, огромном размахе всех тамошних начинаний и с убеждением повторял:

– Да, десять лет еще мира и спокойной работы, и Россию будет не узнать.

Той же осенью государь, оставив свою семью в Дармштадте, приехал в Потсдам к императору Вильгельму.

В Потсдамском дворце был большой обед в присутствии обоих императоров. Это был самый красивый прием, который я видела при германском дворе. Огромная, великолепно

декорированная зала, большое количество приглашенных и то, рождаемое дорогой и новой обстановкой оживление, которое всегда царит на приемах за городом, создали из этого вечера на редкость красивое и оживленное торжество.

После обеда мы все представились государю. И государь, и император Вильгельм были в отличном настроении.

За последний год я подружилась с падчерицей нашего генерального консула Арцимовича, американкой Мириам. Была она немного моложе меня, очень веселая и милая, и так часто бывала у нас в Берлине, что как-то ездила с нами и в Пилямонт, попав таким образом первый раз в жизни в Россию. Она тоже представлялась государю в этот день. Стояли мы, посольские дамы, в один ряд, и к каждой по очереди подходил государь. Когда дошла очередь до Мириам, я, стоя рядом, слышу следующий разговор:

– Vous etes Americaine, n'est ce pas?

– Oui, Votre Majeste.

Мириам, не особенно хорошо говорившая по-французски, старается по-военному, четко и ясно выговаривать слова.

– Avez-vous ete en Russie?

– Oui, Votre Majeste!

– Ou ca?

– A Poliamont, Votre Majeste! – Удивленный взгляд государя.

– Ou est ce que c'est?

– Je ne sais pas, Votre Majeste! – так же отчеканивает Мириам. Государь подымает брови и улыбается. Тогда Мириам спохватывается и поясняет:

– Chez le Bock's…

(– Вы американка?

– Да, Ваше Величество.

– Вы были в России?

– Да, Ваше Величество.

– Где?

– В Пилямонте, Ваше Величество.

– Где это?

– Я не знаю, Ваше Величество.

– У Бок…)

На что государь только нашелся сказать:

– Ah! – подал ей руку и заговорил со мною. Мне было так смешно, что с трудом удалось серьезно сделать реверанс. Все еще улыбался и государь и, очевидно, под впечатлением последнего разговора сказал мне:

– А я теперь знаю, как называется имение вашего отца, он меня, наконец, выучил: Колноберже. Какое трудное название, а

сейчас я узнал название вашего имения… Государь запнулся и я ему подсказала: «Пилямонт».

В тот же вечер я первый раз дольше говорила с императрицей Августой-Викторией, и это было многим труднее, чем разговор с императором Вильгельмом. Она держалась удивительно прямо и, строго глядя на собеседника, задавала вопросы и замолкала на довольно долгое время, что действовало весьма мучительно.

Не то было с ее дочерью, молоденькой принцессой Викторией-Луизой, которая стала мне по-детски доверчиво и многословно объяснять, как чудно жить в Потсдаме и какое наслаждение переезд сюда из скучного Берлина!

Глава XXXIX

Какие странные случайности бывают в жизни. В ноябре 1910 года мой муж получил от своей тетушки имение, и надо же было, чтобы на всем необъятном пространстве России имение это находилось бы именно в той же моей милой, родной Ковенской губернии, в которой я выросла. Живя в Германии и видаясь часто с немцами-помещиками, мы оба научились иначе смотреть на обязанности землевладельца, нежели на таковые смотрели обыкновенно в России люди нашего круга того времени, особенно молодые, и поэтому мы решили честно, отказавшись от всех благ городской жизни, поселиться в деревне и серьезно заняться сельским хозяйством. Наше новое имение находилось довольно далеко от Колнобержe, но лишь в 59 верстах от Либавы, на самой границе Курляндии. Все это дало мужу моему толчок к тому, чтобы покинуть морскую службу. Помню, как морской министр адмирал Воеводский уговаривал моего мужа не делать этого, но решение было принято бесповоротно и, награжденный за месяц до ухода со службы следующим чином за отличие, он, после Рождества 1910 года, вышел в запас в чине старшего лейтенанта, и мы сразу переехали на жительство в Довторы, где мы решили жить зимой, переезжая на лето в мой Пилямонт, чтобы быть ближе к моим родителям.

Как я ни любила деревню, но расставаться с нашими многочисленными берлинскими друзьями оказалось не так-то легко, и каждый прощальный обед, а было их очень много, оставлял на сердце грустное воспоминание.

Новизна жизни в деревне зимой, широкое поле деятельности помещичьего быта, масса дела, обязанностей и забот скоро увлекли меня так, что я забыла и думать о светских увеселениях, о балах и туалетах и, совершенно погрузившись в мирную деревенскую жизнь, чувствовала себя вполне счастливой.

Почти одновременно с переездом в деревню мой муж был назначен Шавельским предводителем дворянства, что дало ему, кроме занятия хозяйством, много разнообразной интересной работы, тогда же он был сделан камер-юнкером.

Ездили мы несколько раз за зиму в Петербург, но всегда на короткое время. В один из этих приездов папа как-то сконфуженно рассказал нам о только что происшедшем случае.

Пришел к моему отцу граф Витте и, страшно взволнованный, начал рассказывать о том, что до него дошли слухи, глубоко его возмутившие, а именно, что в Одессе улицу его имени хотят переименовать. Он стал просить моего отца сейчас же дать

распоряжение одесскому городскому голове Пеликану о приостановлении подобного неприличного действия. Папа ответил, что это дело городского самоуправления и что его взглядам совершенно противно вмешиваться в подобные дела. К удивлению моего отца, Витте все настойчивее стал просто умолять исполнить его просьбу и, когда папа вторично повторил, что это против его принципа, Витте вдруг опустился на колени, повторяя еще и еще свою просьбу. Когда и тут мой отец не изменил своего ответа, Витте поднялся, быстро, не прощаясь, пошел к двери и, не доходя до последней, повернулся и, злобно взглянув на моего отца, сказал, что этого он ему никогда не простит.

В другой наш приезд папа рассказывал, что у него только что был великий князь Николай Николаевич, приносивший, уже вторично, по повелению государя, свои извинения за грубости, сказанные в Комитете Государственной Обороны, где он был председателем:

– Удивительно он резок, упрям и бездарен, – говорил папа, – все его стремления направлены только к войне, что при его безграничной ненависти к Германии очень опасно. Понять, что нам нужен сейчас только мир и спокойное дружное строительство, он не желает и на все мои доводы резко отвечает грубостями. Не будь миролюбия государя, он многое мог бы погубить.

Этой зимой 1910–1911 года мой отец особенно интересовался двумя вопросами: проведением земства в Юго-Западном крае и проведением новой судостроительной программы, в частности кредитов на постройку дредноутов.

Печать была в это время сильно занята вопросом: нужен ли России флот? Полемика была жгучая. Было два мнения:

1) создать, после разгрома нашего флота в Японскую войну, эскадренный флот;

2) ограничиться созданием флота береговой обороны. Об этом писалось в газетах, печатались книги, об этом говорилось с думской трибуны. Между членами Думы споры становились все горячее, и интерес к этому вопросу стал распространяться в широких слоях населения. Моему отцу посылались все издающиеся по этому вопросу книги, статьи. Считая дело это исключительно важным и не будучи достаточно ознакомленным в морских вопросах, отец мой прослушал целый ряд лекций профессоров-специалистов, и не только по стратегическим вопросам, но даже по кораблестроению.

Вникнув таким образом в суть дела, папа твердо стал на точку зрения Морского Генерального Штаба, против большинства

членов Государственной думы, считая, что России, как великой державе, необходим эскадренный флот, и сделался защитником проведения морской программы.

В течение всей зимы папа вел нескончаемые переговоры с лидерами партий и отдельными влиятельными членами Государственной думы, убеждая их в необходимости поддержки законопроекта о кораблестроении.

Очень любивший флот государь тоже считал вопрос этот весьма существенным и постоянно вел о нем переговоры с папа, входя в это дело до мелочей. Государь винил морского министра адмирала Воеводского в неумении говорить с членами Государственной Думы и, как мне говорил папа, неоднократно спрашивал совета, кого бы назначить вместо него. При этом государь упомянул раз, что он знает одного лишь адмирала, который сумел бы найти с Государственной думой общий язык и воссоздать флот России, – это бывший наместник на Дальнем Востоке адмирал Алексеев.

– Но, к сожалению, – прибавил государь, – общественное мнение слишком возбуждено против него, хотя он решительно не виноват в неудачах нашей последней несчастной войны.

Слушая нескончаемые, ни к чему не приводящие споры членов Думы, товарищ морского министра адмирал Григорович начал по собственной инициативе постройку четырех дредноутов.

Время проходило, для дальнейшей постройки броненосцев надо было узаконить кредиты, а споры все продолжались. Все это очень волновало папа, и я помню, каким он себя почувствовал счастливым, когда наконец ему удалось убедить большинство Государственной думы встать на его сторону.

Но не менее близко к сердцу папа лежал и вопрос о введении земства в Юго-Западном крае. Дело это было почти так же дорого моему отцу, как и проводимая им хуторская реформа. Он видел будущее величие России как в самоуправлениях, так и в хуторском хозяйстве, и обе эти мысли были взлелеяны моим отцом еще с юношеских лет. Он мечтал о самоуправлении, когда служил в Северо-Западном крае, но окончательно убедился в целесообразности его во время своего губернаторства в Саратове, где земство играло такую видную роль.

Хотя моему отцу и приходилось вести с Саратовским земством непрерывную и очень не легкую борьбу, он все-таки считал земство необходимым фактором в жизни государства. По его мнению, антагонизм земства и правительства представлял собой лишь уродливое явление смутных 1905–1906 годов, и считал, что эта борьба должна прекратиться по мере оздоровления России.

Одновременное введение земства и в Северо-Западном крае отец мой считал невозможным, вследствие местных условий. Юго-Западный край в крестьянской массе был русским и, хотя там было много помещиков поляков, при выборах по куриям это делу не мешало. Не то было в северо-западных губерниях, где крестьяне в большинстве литовцы или поляки, а помещики почти исключительно поляки. Чтобы выйти из этого положения, отец мой решил заселить этот край известным количеством русских крестьян, для чего Крестьянский банк начал покупать помещичьи земли и парцелировать их между русскими крестьянами. Этим маневром мой отец хотел создать необходимое число русских выборщиков.

Папа говорил, что если провести земство без проведения предварительно этой меры, в результате будет введение польского языка на заседаниях и объединение революционно настроенных против России элементов. Рассчитывал отец на то, что процедура заселения части земли Северо-Западного края продолжится около трех лет, после чего край будет готов к введению в нем самоуправления. Пока же стояло на очереди проведение земства в Юго-Западном крае.

С горячим интересом следили мы за ходом этого столь близкого моему отцу дела и по газетам и по письмам близких.

В Государственной думе законопроект о земстве прошел гладко. Мы радовались исполнению заветного желания папа, считая, что дело это теперь решенное, как вдруг совершенно для всех неожиданно доходит до нас весть о том, что Государственный совет законопроект провалил.

Конечно, ничего другого, как подать в отставку, в данном случае моему отцу не оставалось, что он и сделал.

Все подробности этого дела мы узнали несколько позже лично от моего отца, а в эти тревожные дни, проводимые вдали от моих, мы знали лишь, что папа подал в отставку и что отставка эта, очевидно, принята, раз три дня нет никакого ответа на его прошение. На четвертый день оказалось, что мой отец остается на своем посту, но не успели мы ничего узнать по этому поводу, как получаем телеграмму следующего содержания: «Можете ли принять двух мужчин? Приедут в своем вагоне». Не трудно было, конечно, сразу догадаться, что идет речь о папа и об одном из его чиновников особых поручений, всегда его сопровождавшего, и легко, конечно, понять и то, до чего мы были счастливы, что мой отец выбрал именно наш дом для отдыха после пережитой тяжелой недели.

Приготовив возможно уютно комнаты для моего отца, мы поехали встретить его за две станции от нас.

Помню я, как сегодня, как я вошла в вагон папа, и какое удивленное (он не ждал нас уже здесь) и радостное лицо он поднял ко мне.

Это были одни из самых счастливых дней, проведенных нами вместе. По дороге до нашей станции мой отец успел подробно рассказать нам обо всем пережитом за последнее время.

Оказывается, уже после того, как законопроект о земстве провалился в Государственном совете, стало известно, что накануне его разбора два крайне правые члена Государственного Совета, Трепов и Дурново, были приняты государем, которого они сумели убедить в том, что введение земства в юго-западных губерниях гибельно для России и что депутация от этих губерний, принятая государем, состояла вовсе не из местных уроженцев, а из «столыпинских чиновников», говорящих и действующих по его указаниям.

Не переговорив по этому делу с премьером, государь на вопрос Трепова, как им поступить при голосовании, ответил: «Голосуйте по совести».

Результатом этой аудиенций и был провал законопроекта в Государственном совете, повлекший за собой и прошение об отставке моего отца.

Не получая три дня никакого ответа на поданное прошение, папа считал себя в отставке, как на четвертый день он был вызван в Гатчину вдовствующей императрицей. Об этом свидании мой отец рассказывал с большим волнением, такое глубокое впечатление произвело оно на него.

Входя в кабинет императрицы Марии Федоровны, папа в дверях встретил государя, лицо которого было заплакано и который, не здороваясь с моим отцом, быстро прошел мимо него, утирая слезы платком. Императрица встретила папа исключительно тепло и ласково и сразу начала с того, что стала убедительно просить его остаться на своем посту. Она рассказала моему отцу о разговоре, который у нее только что был с государем.

«Я передала моему сыну, – говорила она, – глубокое мое убеждение в том, что вы одни имеете силу и возможность спасти Россию и вывести ее на верный путь».

Государь, находящийся, по ее словам, под влиянием императрицы Александры Федоровны, долго колебался, но теперь согласился с ее доводами.

«Я верю, что убедила его», – кончила императрица свои слова.

В самых трогательных и горячих выражениях императрица умоляла моего отца не колеблясь дать свое согласие, когда

государь попросит его взять обратно свое прошение об отставке. Речь ее дышала глубокой любовью к России и такой твердой уверенностью в то, что спасти ее призван мой отец, что вышел он от нее взволнованный, растроганный и поколебленный в своем решении.

Вечером того же дня, или вернее ночью, так как было уже два часа после полуночи, моему отцу привез фельдъегерь письмо от государя. Это было удивительное письмо, не письмо даже, а послание в 16 страниц, содержащее как бы исповедь государя во всех делах, в которых он не был с папа достаточно откровенен.

Император говорил, что сознает свои ошибки и понимает, что только дружная работа со своим главным помощником может вывести Россию на должную высоту. Государь обещал впредь идти во всем рука об руку с моим отцом и ничего не скрывать от него из правительственных дел. Кончалось письмо просьбой взять прошение об отставке обратно и приехать на следующий день в Царское Село для доклада.

На следующий день на аудиенции в Царском Селе папа дал согласие остаться на своем посту, но поставил условием, чтобы Государственный совет и Государственная дума были бы распущены на три дня и чтобы за это время законопроект о земстве был бы проведен согласно 87 статье. Государь дал на это согласие и, кроме того, уволил обоих виновников провала законопроекта в Государственном совете в бессрочный отпуск, за границу.

Папа кончил свой рассказ, когда мы подъезжали к нашей станции, и мы были счастливы, когда взволновавшие нас всех воспоминания сменились мирными впечатлениями сельской жизни. Папа еще не знал нашего дома, и мы были особенно рады, что он посещает нас в Довторах. Было это в начале Страстной недели. Накануне было еще холодно, небо было серое и от еще не оттаявшей земли тянуло сыростью. А к приезду папа вдруг, как по мановению волшебного жезла, картина сразу изменилась.

Засияло солнце. Мигом просушило оно своими горячими лучами землю, защебетали и запели птицы, запахло талой землей, тут и там стали появляться зеленая травка и первые лиловые цветочки.

Это было так неожиданно и так отрадно, что папа, как и мы, вздохнул, казалось, полной грудью и, сидя на балконе или гуляя по саду, любовался ни с чем несравнимой картиной воскресения природы, забывая на время тяжелую борьбу и труды.

У нас гостила тогда Мириам, та самая американка, разговор которой с государем так рассмешил его. С папа же приехал его любимый чиновник особых поручений, Яблонский, удивительно

толковый, расторопный и живой. Он был, по выражению папа, всегда и везде «на высоте своего призвания». Мы все вместе очень много гуляли, ездили с папа верхом, а вечером, уютно сидя в нашей деревенской гостиной, учили папа играть в бридж, что его очень забавляло.

Как чудный сон пролетели эти четыре весенние дня, которые папа провел в Довторах. Войдя в наш дом, он сказал:

– Это мама придумала, что я отдохну лучше всего у своих детей.

А уезжая, его последними словами были:

– Да, я действительно отдохнул и так счастлив, что знаю вашу жизнь.

По дороге он говел в Риге и к Пасхе был уже дома, в Петербурге.

Глава XL

Ранним летом переехали мы в Пилямонт, где намеревались провести 2–3 месяца, по соседству от Колноберже. Это лето, последнее в жизни папа, все было какое-то другое, чем предыдущие. С детства не видала я папа настолько близким к нам всем, как теперь, и вместе с тем никогда не видала я его таким утомленным.

По-прежнему все нити, управляющие внутренней жизнью огромной Российской империи, сходились в его руках; как и в предшествовавшие годы, разносил день и ночь работающий в Колноберже телеграф распоряжения и приказы на тысячи верст. Но когда я присматривалась ближе к моему отцу, то видела, что тяжесть, лежащая на его плечах, превышает его силы, что он устал, что ему нужен полный отдых. Он, по-видимому, и сам вполне сознавал это, так как все, что мог, из дел сдал перед отъездом из Петербурга В. Н. Коковцову.

Дядя Александр Аркадьевич Столыпин жил это лето в своем имении Бече, лежащем от Колноберже в шестидесяти верстах. Папа собрался его навестить. Поехали и мы с ним в его вагоне и провели вместе у дяди целый день. Этот чудный летний день оказался последним свиданием обоих братьев.

Мы все, веселясь, играя и гуляя, остались в восторге от всегдашнего гостеприимства дяди и тети и были очень далеки от каких-нибудь мрачных предчувствий, но дядя Саша впоследствии рассказывал мне, что папа в этот приезд говорил с ним о своем здоровье, чего он так не любил делать, и сказал ему, что, чувствуя себя крайне утомленным, дал исследовать себя перед отъездом из Петербурга доктору, который ему и сказал, что у него грудная жаба и что сердце его требует полного и длительного отдыха.

– Постараюсь отдохнуть в Колноберже, насколько возможно без вреда для дел, а осенью поеду на юг, – говорил папа, и прибавил: – Не знаю, могу ли я долго прожить.

В сентябре предполагались в Киеве большие торжества в высочайшем присутствии по случаю открытия памятника Александру II, на которых папа должен был присутствовать, а после них он и хотел поехать на короткий срок к моей тетушке, княгине Лопухиной-Демидовой.

Княгиня Ольга Валерьяновна Лопухина-Демидова жила уже тридцать лет безвыездно в своем имении Киевской губернии Корсунь, когда-то бывшей резиденцией польских королей.

Корсунь славился красотой своего месторасположения, парком и замком, славился даже за границей, откуда приезжали

осматривать его туристы. А сама тетушка была одной из самых типичных «grandes dames» старого закала, какую только можно было сыскать на обоих полушариях. Поразительной красоты в молодости, она сохранила до поздней старости правильные, тонкие черты лица и величавую осанку. Женщина редкой доброты, она не смущалась никем и ничем, говорила каждому в лицо правду, не сообразуясь с тем, приятно это ему или нет, но говорила она таким тоном, что ни протестовать, ни обижаться и в голову не приходило.

К моему отцу она относилась с большой любовью, с восторгом преклонялась перед его деятельностью и очень ждала его приезда из Киева. Но все эти планы неясно рисовались в, казалось, далеком будущем, а пока мы все наслаждались летом, деревней и, главное, возможностью сравнительно часто видеть папа и свободно разговаривать с ним.

Папа много с нами гулял, когда мы приезжали из Пилямонта, и очень охотно беседовал с моим мужем и мною на все интересующие нас темы. Пользуясь этим, я, как в дни детства, обращалась к папа за разъяснением неясных для меня вопросов.

Хотя Распутин в те годы не достиг еще апогея своей печальной славы, но близость его к царской семье тогда уже начинала возбуждать толки и пересуды в обществе. Мне, конечно, было известно, насколько отрицательно отец мой относится к этому человеку, но меня интересовало, неужели нет никакой возможности открыть глаза государю, правильно осветив фигуру «старца»! В этом смысле я и навела раз разговор на эту тему. Услышав имя Распутина, мой отец болезненно сморщился и сказал с глубокой печалью в голосе:

– Ничего сделать нельзя. Я каждый раз, как к этому представляется случай, предостерегаю государя. Но вот что он мне недавно ответил: «Я с вами согласен, Петр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы».

Конечно, все дело в этом. Императрица больна, серьезно больна; она верит, что Распутин один на всем свете может помочь наследнику, и разубедить ее в этом выше человеческих сил. Ведь как трудно вообще с ней говорить. Она, если отдается какой-нибудь идее, то уже не отдает себе отчета в том, осуществима она или нет. Недавно она просила меня зайти к ней после доклада у государя и передала свое желание о немедленном открытии целой сети каких-то детских приютов особого типа. На мои возражения, что нельзя такую работу осуществить моментально, императрица сразу пришла в страшное волнение, нервно, со слезами в голосе стала повторять:

– Mais comprenez-moi done, ces malheureux enfants ne peuvent pas attendre; cela doit etre arrange toute de suite, tout de suite (Но поймите меня, несчастные дети не могут ждать. Это должно быть сделано немедленно, немедленно).

Видя, насколько она возбуждена, мне только оставалось ответить:

– Je ferai mon possible pour satisfaire le desire de Votre Majeste (Я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить желание Вашего Величества).

– Ведь ее намерения все самые лучшие, но она действительно больна.

В другой раз папа говорил мне:

– Какая разница между императрицей Александрой Федоровной и ее сестрой. Великая княгиня Елизавета Федоровна – это женщина не только святой жизни, но и женщина поразительно энергичная, логично мыслящая и с выдержкой, доводящая до конца всякое дело. Займется она, например, каким-нибудь брошенным ребенком, так можешь быть уверена, что она не ограничится тем, чтобы отдать его в приют. Она будет следить за его успехами, не забудет его и при выходе из приюта, а будет дальше заботиться о нем и не оставит его своим попечением и когда он кончит учение. Это женщина, перед которой можно преклоняться.

И этим летом, как это бывало всегда с самого моего рождения, посещали Колноберже все наши старые друзья и соседи, но в этот последний год и папа побывал у всех, чего он в предыдущие годы не делал. «Будто хотел со всеми проститься», – говорила впоследствии мама.

Он всех посетил, всех обласкал, интересуясь жизнью каждого. Отцу Антонию привез даже в подарок красивую чернильницу из Петербурга. Очень наш батюшка этой чернильнице обрадовался, берег ее как зеницу ока, и это была первая вещь, о которой он подумал, когда надо было при приближении во время войны немцев бежать из Кейдан. Но старенький отец Антоний так растерялся в день, когда надо было ему покинуть дом, в котором он прожил свыше сорока лет, что не нашел лучшего места для «драгоценной» чернильницы, как под креслом в гостиной! Приехав в Петербург, он рассказывал, как ее хорошо запрятал под длинный чехол кресла. А как батюшка наш был по возвращении в Кейданы после войны горько разочарован, не найдя чернильницы!

Мысленно переживая эти последние месяцы жизни моего отца, вспоминаю я один удивительный случай.

Бывал у папа доктор Траугот, бывший товарищ папа по университету. Они не видались со студенческих времен и

встретились снова в бытность моего отца уже премьером, когда Траугот обратился к папа официально по поводу какого-то дела. Но официальные отношения сразу были отброшены, и этот доктор продолжал бывать в доме в качестве друга.

Приезжаем мы раз в Колноберже, и папа, здороваясь, сразу говорит мне спокойным, самым обыкновенным голосом:

– Знаешь, Траугот умер.

Я спрашиваю:

– Была телеграмма?

На что папа так же спокойно, будто дело идет о самой обыденной вещи, говорит:

– Нет, он сам явился ко мне ночью, сказал, что умер, и просил позаботиться о его жене.

А потом мама рассказывает, что папа ночью разбудил ее и сказал, что Траугот умер.

Вечером того же дня была получена телеграмма с этим же известием. Надо прибавить, что менее суеверного и склонного к каким бы то ни было мистическим переживаниям человека, чем мой отец, трудно было сыскать.

До отъезда в Киев ездил папа раз на несколько дней в Петербург и потом в Ригу на торжества открытия памятника Петру Великому. Из Риги мой отец приехал в восторге и много нам потом рассказывал про этот так понравившийся ему город.

Лето, последнее лето папа, подходило к концу. Мы поехали проститься с ним перед его отъездом в Киев. Перед отъездом мы гуляли по саду, и помню, как мой отец, обратясь к мама, сказал:

– Скоро уезжать, а как мне это тяжело на этот раз, никогда отъезд мне не был так неприятен. Здесь так тихо и хорошо.

Я осталась на несколько дней в Колноберже, пока мой муж объезжал дворян своего уезда. Встретиться должны мы были в Шавлях первого сентября к открытию сельскохозяйственной выставки.

Глава XLI

В конце августа папа, как и предполагалось, выехал в Киев. Мне было грустно, как при всяком расставании с папа, но предполагалась ведь недолгая разлука, и в Колноберже потекла дальше обычная жизнь. Как это всегда бывает, лишь позднее вспомнился случай, который, если бы верить предзнаменованиям, должен был произвести на провожающих папа в Кейданах тяжелое впечатление. А именно: поезд два раза трогался и из-за какой-то неисправности локомотива сразу останавливался и лишь через полчаса наконец двинулся окончательно. Потом все об этом вспоминали и говорили, что какая-то сила не отпускала папа с родного Кейданского вокзала.

Вечером первого сентября я приехала в Шавли (Шауляй – Литва) и только вошла в дом, как мне подали сразу три телеграммы. Вообще получение телеграммы ничего особенного не представляло. Но три сразу?!. Меня будто что-то больно ударило по сердцу. Дрожащими руками открыла я их одну за другой. Первая от мама: Олёчек заболела скарлатиной в тяжелой форме, остальные дети отправлены к вам в Пилямонт и мама просит меня ими заняться.

Вторая – подписано Семеновым, офицером, начальником охраны в Колноберже. Боже! Что это? В глазах мутится, и я с трудом разбираю, что с папа в Киеве несчастье, что он ранен. Скорее дальше… что в третьей? Просят приехать срочно в Колноберже, наше присутствие необходимо.

Когда на душе очень тяжело, единственный способ совладать с собой, это стараться действовать, работать, делать что-нибудь, только не оставаться инертным под ударами судьбы. Чувствуя скорей, чем зная это, я сразу стала распоряжаться, стараясь не думать, не вникать, не бояться. Отправила свою девушку в Пилямонт, дав ей все инструкции об устройстве там детей; дала знать замещающему моего мужа земскому начальнику, что муж на завтрашнее заседание приехать не может, а сама, сев ночью в поезд мужа, поехала с ним в Кейданы и Колноберже.

Мы не знали, что с папа, предполагали даже, что возможна даже просто какая-нибудь ничтожная автомобильная катастрофа или что-нибудь в этом роде. Или скорее старались утешить себя такими мыслями, хотя в душе молотом отбивало одно слово: «Покушение, покушение!» Да, конечно, покушение – это узнали мы уже в Кейданах, и это же с подробностями подтвердилось в Колноберже.

Мало бывает в жизни минут тяжелее тех, что мы пережили,

войдя в колнобержский дом. Как ни старались мы подбадривать друг друга во время дороги и как ни старались мы бодро смотреть на будущее, тут сразу все искусственно построенное здание наших надежд рухнуло, только вошли мы в родной дом, полный еще присутствия папа.

С момента получения телеграммы я не проронила ни одной слезы, но стоило мне перешагнуть порог кабинета папа, как всю душу охватило такое чувство безнадежной тоски, что я зарыдала так, как никогда не плакала.

Мама, конечно, собралась сразу в Киев. Решено было, что я останусь при Олёчке, а мой муж повезет здоровых детей из Пилямонта, где тоже были случаи скарлатины, в Довторы.

Момент первого инстинктивного отчаяния прошел. Телеграммы из Киева приходили скорее успокоительные, и к тому же надо было взять себя в руки, чтобы Олёчек, у которой было сорок один температуры, ничего бы не знала.

Как ни тяжело было с такой тревогой в сердце расставаться с мужем, последующие дни прошли сравнительно спокойно. Газеты приносили успокоительные бюллетени: мама уже была при папа – эта мысль тоже успокаивала, и, кроме того, положение Олёчка было настолько серьезно, что требовало сосредоточивания на себе всего моего внимания.

Приехала выписанная из Петербурга милая сиделка Николаева, выходившая Наташу, поселился на время болезни в доме доктор, кроме приезжавшего ежедневно из Кейдан нашего земского врача, и мы все жили нашей больной.

Судя по бюллетеням и по объяснению наших докторов, раны папа были не опасны, и во время молебна, отслуженного в Колноберже чинами охраны, у всех нас было легко на душе. Я послала все-таки телеграмму министру финансов Коковцову, который был почти все время с моим отцом и до ранения и после, и который теперь принял от него все дела. Получила я от него очень обстоятельный и отнюдь не пессимистический ответ.

Я знала по газетам, что покушение произошло в театре, во время представления, в высочайшем присутствии, но все подробности стали мне известны лишь позже, в Киеве.

Пятого сентября вечером, когда я спросила, почему мне не дали газету, произошла какая-то заминка, немного меня удивившая. Доктор как-то странно взглянул на Николаеву и слишком естественным голосом рассказал какую-то запутанную историю о том, что кучер не приехал еще из Кейдан, что лакей что-то кому-то не передал и т. д. Я ответила, что прошу прислать мне газету завтра с утра, и пошла спать.

Рано утром меня будит Николаева. Я вскакиваю как

ужаленная:

– Что с Олёчком?

– Ничего, все благополучно, только вот Борис Иванович (мой муж) очень по вас соскучился и сейчас телефонировал. Я ему ответила, что больная благополучна, так он велел передать, чтобы вы немедленно ехали к нему в Довторы на денек. Я вам и ванну уже приготовила и все чистое, белье и платье, чтобы не занести заразы.

Как все это ни было дико, но, видно, Бог в трагическую минуту посылает людям духовную слепоту. Иначе не знаю, как объяснить, что я не поняла сразу всего, а вымылась, оделась, поела, простилась с Олёчком, сказав, что завтра вернусь, и, только сев уже в автомобиль, спохватилась: а газета?!

В эту минуту шофер пустил в ход машину, а курьер, в последнюю минуту вскочивший рядом с ним, обернулся ко мне и сказал:

– Вот, Мария Петровна, я взял газету, – и передал мне старый номер «Нового времени». На мое недовольное замечание он ответил:

– Простите, Мария Петровна, не заметил, на станции новую достану.

Но приехали мы в последний момент, поезд двинулся, и, к моему удивлению, оказалось, что курьер едет со мной. Закрыл мое купе и стоит в коридоре, не отходя от двери. Как я его ни гнала, он отвечал:

– Так велено. – И я до нашей станции Луша доехала, так и не видавши газеты. Трудно сказать, что я переживала, пока сложа руки сидела, не двигаясь, у окна вагона. Очевидно, в глубине души я все поняла, но не сознавалась самой себе в этом. Когда же на нашей станции я увидала моего мужа, ничего между нами сказано не было, но все стало сразу ясно: папа умер, его нет, и я его никогда, никогда не увижу!

Несколько часов дома, среди вороха черных материй и крепа, из которых приехавшие из Либавы портнихи спешно шили нам всем платья, и мы все едем в Киев.

В Киев мы приехали до похорон, но тело было перевезено из больницы Маковского, где папа скончался, в Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, у стен которой, по желанию государя, рядом с могилами Искры и Кочубея, должны были похоронить моего отца, положившего, как и они, свою жизнь за царя и отечество. Это совпадало с волей папа, который всегда говорил, что хочет быть похороненным в том городе, где он кончит свою жизнь.

Мама мы увидали в больнице, где скончался папа, и где мы

все остановились. Мама была в каком-то оцепенении: не плакала и говорила спокойно, ледяным голосом. Когда она увидала меня, она сказала:

– И ты приехала? Значит, Олёчек умерла, я понимаю, а то ты бы ее не оставила.

Разубедить мама, объясняя ей, что Олёчку лучше, оказалось в первые дни невозможно.

Из газет, от съехавшихся в Киеве родных и друзей, узнали мы понемногу все подробности последних дней моего отца.

Он вообще никогда не любил помпы, представительства, официальных торжеств, а на этот раз, по словам видавших его в это время людей, был особенно утомлен и с нетерпением ждал окончания празднеств.

Приехал папа двадцать восьмого августа и остановился в отведенном для него помещении генерал-губернаторского дома.

Первого сентября был в театре спектакль в высочайшем присутствии, куда, конечно, пускали лишь по именным приглашениям. Мой отец сидел в первом ряду партера, недалеко от царской ложи, в которой находились государь и великие княжны. Хотя я знаю о всем происшедшем лишь по рассказам, но столько очевидцев передавали мне трагедию этого вечера, что, когда я мысленно стараюсь воскресить перед собой эту одну из самых мрачных страниц русской истории, все происшедшее так ясно рисуется передо мной, будто я видала все сама.

Второй антракт. Папа встал и оперся, спиной к сцене, о балюстраду оркестра, разговаривая с министром двора бароном Фредериксом. Он был в белом летнем сюртуке, таком, в каком я увидала его в гробу. Его высокая статная фигура ясно виднеется в самых отдаленных местах полупустого во время антракта театра. Большая часть публики в фойе.

Вдруг, через средний проход, быстро, в упор глядя на моего отца, подвигается фигура во фраке. Здесь, где почти исключительно видны мундиры, этот черный фрак на невзрачной фигуре производит зловещее впечатление. Но не успел никто дать себе отчета в происходящем, как человек во фраке успел подойти к моему отцу и произвел в него почти в упор два выстрела.

На мгновение оцепеневшие от ужаса присутствующие видали, как папа несколько секунд еще простоял так же. Потом, медленно повернувшись к царской ложе, отчетливо осенил ее большим крестным знамением и грузно опустился в ближайшее кресло. Яркое пятно крови выступило на белой ткани его сюртука.

В это время толпа ринулась на пытавшегося ускользнуть убийцу, и бывшие в зале и прибежавшие из фойе схватили его и пытались растерзать. Офицеры бежали с саблями наголо, и

возбуждение было таково, что его разорвали бы на куски, если бы не спасла его полиция. В это время папа понесли на кресле к выходу. Возмущение и возбуждение были неописуемые, а когда взвился занавес и со сцены послышались торжественные аккорды «Боже, царя храни», не оставалось во всей зале ни одного человека с сухими глазами. Государь, прослушав гимн, уехал из театра.

Моего отца доставили тем временем в лечебницу Маковского, и туда толпами стали прибывать интересующиеся состоянием его здоровья.

До четвертого сентября положение папа не признавалось докторами безнадежным, и страдания его не были очень значительны. Он много говорил с В. Н. Коковцовым, которому, как официально его замещающему, передавал все дела, и был все время в полном сознании.

Со всей России съехались профессора по собственной инициативе, желая своими знаниями спасти жизнь отца. Они установили между собой дежурства и даже не допускали к нему сестер милосердия, исполняя сами все их обязанности.

Раны было две: одной пулей была прострелена печень, другой правая рука.

Отношение добровольно приехавших профессоров к раненому было исключительно трогательное, и когда, после кончины папа, им был от правительства предложен гонорар, все, как один, от него отказались.

Четвертого сентября утром приехала мама и нашла моего отца настолько бодрым, что ей и в голову не пришло, что жизнь его может быть в опасности. В этот день приезжал в больницу государь.

К вечеру этого же дня температура повысилась, страдания увеличились, и папа стал по временам впадать в забытье. В бреду он несколько раз упоминал имя своей раненой дочери, Наташи.

Пятого сентября утром папа был опять в полном сознании и, подозвав дежурившего при нем профессора, спросил его:

– Выживу ли я?

Профессор, в душе считавший положение безнадежным, стал все же уверять папа, что опасности нет. Неискренность его ответа не ускользнула от моего отца, и он, взяв руку профессора, положил ее на свое сердце и сказал:

– Я смерти не боюсь, скажите мне сущую правду!

Профессор все же повторил свои слова. Тогда папа откинул его руку и, возвысив голос, сказал:

– Как вам не грех: в последний день моей жизни говорить мне неправду?!

После этого сознание стало его снова покидать, слова его стали бессвязнее и относились они все к делам управления Россией, для которой он жил, с заботой о которой он умирал. Его слабеющие руки пытались чертить что-то на простыне. Ему дали карандаш, но написать что-нибудь ясно он не мог. Пытались также разобрать смысл его слов. Присутствующий в это время в комнате чиновник особых поручений даже записывал все, что можно было разобрать, но ясно было повторено лишь несколько раз слово: Финляндия.

К пяти часам папа впал в окончательное забытье. До этого времени мама, в халате сестры милосердия, почти безотлучно бывшая при папа, не верила и не сознавала опасности его положения. В этот день один из профессоров пришел к ней и сказал:

– Вы знаете, что состояние Петра Аркадьевича очень серьезно?

Мама удивленно подняла на него глаза:

– Оно даже безнадежно, – прибавил профессор, отворачиваясь, чтобы скрыть свои слезы.

Какое самообладание нужно было моей матери, чтобы после этого, сидя у папа, в минуты, когда он был в сознании, казаться спокойной и уверенной в счастливом исходе.

Государь также не верил серьезности положения. Его уверял доктор Боткин в противном, почему государь и продолжал программу торжеств.

Пятого сентября вечером началась агония. После несвязных бредовых слов папа вдруг ясно сказал:

– Зажгите электричество!

Через несколько минут после этого его не стало.

Мама пришлось пережить ужас последней разлуки одной, без одного из своих шести детей около себя, ища и находя поддержку в вере в Бога, помогшему ей стойко вынести эти тяжкие испытания.

Государь вернулся из Чернигова в Киев шестого сентября рано утром и прямо с парохода поехал в больницу. Он преклонил колена перед телом своего верного слуги, долго молился, и присутствующие слыхали, как он много раз повторил слово: «Прости». Потом была отслужена в его присутствии панихида.

Рассказывали мне, что перенос тела из больницы в Киево-Печерскую лавру представлял такое грандиозное и внушительное зрелище, что только видевший это мог понять, что значило имя Столыпина в России. Я же видела лишь похороны в самой лавре: тысячи венков и горы цветов на могиле, и слыхала из сотен уст ту же, звучащую неподдельно-искренно фразу:

– Вам должно быть легче нести ваше горе, зная, что его разделяет с вами вся Россия.

Когда я увидала папа в гробу, сквозь душившие меня рыдания душу мою прорезала фраза, сказанная мне моим отцом в день смерти дедушки Аркадия Дмитриевича:

– Какая ты счастливая, что у тебя есть отец.

Знали враги величия России, что они делают, убивая моего отца именно тогда. Сделай они это позже, убивая его, не убили бы они его идеи. Она восторжествовала бы и после его смерти.

В 1911 году, когда мой отец пробыл у власти всего пять с половиной лет, идеалы его не успели еще пустить корни достаточно глубоко; не вошли они еще в плоть и кровь русского народа и, когда не стало его, все здание, им построенное, рухнуло.

Первые годы после его кончины оно поддерживалось еще его верным сподвижником В. М. Коковцовым, но его управление Россией было, увы, очень непродолжительным.

Глава XLII

Как ни тяжела была болезнь Олёчка, но, видно, она была послана Богом не для испытания, а для поддержки мама. Имея, о ком заботиться день и ночь, она, привыкшая к самоотверженью во имя своих, смогла побороть свою глубокую скорбь, оттеснить в глубину души невыплаканные слезы и совсем отдаться уходу за своей больной девочкой. Она даже нашла в себе силы скрывать от нее, пока она не окрепла, ужасную правду, и Олёчек узнала о кончине отца лишь за день до того, когда она с нами всеми поехала в Киев на панихиду сорокового дня.

Старшие девочки очень тяжело переносили наше горе, и из всех нас только шестилетний Адя, не отдававший себе отчет в происшедшем, был в состоянии детски беззаботно пользоваться деревенской свободой и своим весельем и играми вносил некоторое оживление в нашу жизнь в те ужасные пять недель, что я провела с детьми в Довторах.

Мой муж оставался все это время в Колноберже с мама. Было бы выше сил человеческих ей одной, с больной Олёчком, вынести кошмар этих недель.

Через несколько дней после кончины папа в Колноберже приехала комиссия для просмотра всех оставшихся дел. Все письма государя, все бумаги, имеющие государственное значение, были увезены. В Петербурге, тоже в первый день по кончине, были опечатаны письменные столы папа, так что ни одного важного или просто интересного документа в семье не осталось.

Но при разборе документов в Колноберже присутствовал мой муж и ознакомился с частью из них. Наиболее интересной являлась незаконченная, написанная в последние дни жизни папа, работа о будущем политическом устройстве России.

Мой отец писал в ней, что он принял Россию в анархическо-хаотическом состоянии и поэтому единственно возможным было вначале «захватить ее в кулак». И, проведя земельную реформу, долженствующую уничтожить опаснейшую для России партию социал-революционеров, начать «постепенно разжимать кулак».

Уже через год после кончины моего отца ему были воздвигнуты памятники в Киеве, Гродне и Самаре. В течение первых месяцев после кончины были собраны по подписке громадные суммы на эти памятники. В Киеве соорудили грандиозный, прекрасный по идее и исполнению бронзовый памятник, поставленный перед городской Думой. Исполнителем этой столь же художественной, сколь поразительной по сходству статуи был скульптор Скименес, итальянец, видевший папа раз в

жизни.

Он этот единственный раз был в театре во время рокового представления первого сентября. Скименес видал его лицо, когда он последний раз в жизни, выпрямившись во весь рост, истекая кровью от смертельной раны, собрал все свои физические и духовные силы, чтобы слабеющей рукой благословить царя, за которого отдал жизнь свою.

И это лицо произвело на скульптора такое впечатление, что он на память – так за этот один момент запечатлелись в его сознании черты папа – изобразил его лучше, чем это были в состоянии сделать другие скульпторы, знавшие моего отца раньше. На этом памятнике высечены были слова, которые еще так недавно слыхала я из уст папа: «Не запугаете» и «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» и «Твердо верю, что затеплившийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию». На передней стороне памятника стояли красноречивые в своей лаконичности слова: «П. А. Столыпину – Русские люди».